

Воронель А. И остался Иаков один... Сборник статей. – Израиль, 1991. – 240 с.
OCR и вычитка: Феня Пелешевская, март 2004.



Александр Воронель

И остался Иаков один...

Сборник статей

*Нелле,
другу всей жизни*

Содержание:

[ЗАКЛИНАНИЕ БУДУЩЕГО](#)

ИСХОД

[НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ
ИУДЕЙСТВО И ЭЛЛИНСТВО В НАУКЕ](#)

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

[УНИКАЛЬНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА И ВЫЗОВ
РУССКАЯ АЛИЯ И ИЗРАИЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА
АЛИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ РОССИИ
ДОВОЛЬНО И ЭТОГО
БИБЛЕЙСКИЙ РЕАЛИЗМ
ИАКОВ ОСТАЛСЯ ОДИН
«ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД, ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК...»
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТВОРЧЕСКОМУ ИУДАИЗМУ
МЫ МЫСЛИМ ЛИШЬ ПОСКОЛЬКУ МЫ СУЩЕСТВУЕМ](#)

ОТКЛИКИ

[ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА
АНДРЕЙ САХАРОВ, ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ
В МИРЕ НЕТ ЦЕНТРА
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЕВРЕИ ОБЪЕКТОМ СОВЕТСКОГО АНТИСЕМИТИЗМА?
ВЕЧНЫЙ КОМИССАР
МЕЧТА О СПРАВЕДЛИВОМ ВОЗМЕЗДИИ
БЕСЕДА О ГУМАНИЗМЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ](#)

ЗАКЛИНАНИЕ БУДУЩЕГО

Стало уже общим местом признавать, что произошедшее в Восточной Европе крушение коммунизма (точнее, крушение тоталитарных коммунистических режимов) привело к дискредитации социалистической идеи во всем мире. Вожди социалистической (рабочей) партии Израиля уже приступили к отмыванию своей партийной символики от марксистских стереотипов. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма с истинно американским оптимизмом уже успел предсказать скорую победу идей свободного предпринимательства во всем мире.

Конечно, эта реакция не имеет никакого отношения ни к истине, как таковой, ни даже к вопросу об обоснованности социалистических теорий. Такая паника, на самом деле, отражает лишь современный уровень вмешательства массового сознания в общественные дела, где истина не просто относительна, но заведомо субъективна. Если основанные на эволюционной модели науки иллюзии, распространенные в XIX веке, требовали от тогдашних лидеров некоего наукообразия в представлении их взглядов, в наше время одно только упоминание о научной обоснованности каких-либо политических затей может оказаться достаточным, чтобы обречь их на полный провал.

Поэтому я думаю, что сегодня еще не оценена, не взята в расчет дальняя перспектива этого массового психологического кризиса, который грозит выйти за пределы, обозначенные для критики сегодня. Я имею в виду, что социалистический эксперимент в значительной степени явился результатом предшествующей эволюции гуманизма и, по крайней мере до времени, всегда сочетался с борьбой за свободу.

Может быть, только революционное движение в России впервые ярко подчеркнуло присущее гуманизму противоречие между либерализмом (борьбой за свободу) и социализмом (борьбой за народное счастье). В других странах народное счастье (точнее, благосостояние) труднее отделялось от свободы, и социализм, поэтому, проявлялся в менее устрашающих формах. Теперь, наблюдая динамику отката, паническое отступничество во всем мире от предшествующего эйфорического отношения к социализму, я ожидаю близкого кризиса гуманизма вообще.

В преддверии такой тотальной мировой перестройки мне кажется необходимым обдумать идеологические основания, на которых покоится существование нашего государства, т.е. сионизм.

Любопытно, что критика гуманизма давно уже прозвучала со стороны представителей всех толков фундаментализма, от умеренно-непоследовательного А.Солженицына до воинственно-последовательного аятоллы Хомейни, но еще никогда не была воспринята всерьез большинством читающей публики. Она не была воспринята, в основном, потому, что большая часть читающей публики считает фундаментализм просто ругательным словом, вроде глупости. Массивную поддержку такой образ мысли имеет скорее среди публики нечитающей. Между тем, всякий фундаментализм отличается, прежде всего, именно своей внутренней последовательностью, стройностью, т.е., в сущности, красотой, которая привлекает простые сердца без всяких ссылок на науку. Эта собственная внутренняя цельность дает фундаменталисту такое острое видение противоречий современной гуманистической цивилизации, которое часто опережает самокритику и самоконтроль, вписанные в эту агностическую систему самим принципом ее построения.

Любое фундаменталистское мировоззрение, будучи ориентировано на идеальные объекты и слабо связано с эмпирической действительностью, в сущности, непроверяемо. Оно отвечает верующему человеку на все вопросы, в том числе и неразрешимые, если он согласен верить на слово. Последовательный фундаменталист скорее умрет, чем обнаружит догматическую ошибку.

Между тем, любой принцип, основанный на гуманизме, вынужден апеллировать к такому несовершенному объекту, как реальный человек и его сообщества, — следовательно, по необходимости, не может быть окончательным. Он, в сущности, и недоказуем. Гуманизм содержит в себе противоречия, которые непременно обнаруживаются при всяком столкновении с действительностью. А столкновения, конечно, неизбежны для мировоззрения, которое ориентируется на опытную реальность и воспринимает историю как умопостижимый, рукотворный процесс. Такое мировоззрение, очевидно, должно быть готово к догматическим Уступкам.

Гуманистическое умонастроение неотразимо привлекательно для интеллектуала как ведущая его рискованная гипотеза, поскольку она дает простор для творческой социальной активности и позволяет коррекцию. Но, как только гуманистическая идея приобретает догматически-религиозные черты, что свойственно всякой идее, овладевающей массами, она обнаруживает свою непродуктивность. Сначала для интеллектуалов, а потом и для всех остальных. Именно это и произошло с социализмом. **В роли Священного Писания гуманизм неконкурентоспособен.**

Сионизм как идеология возник в девятнадцатом веке, позже других современных идеологий, но его источником (в светском варианте) была та же гуманистически-освободительная тенденция, что провозгласила непоследовательный лозунг «свободы, равенства и братства».

Действительно, как только секулярные евреи осознали себя полноправными, «равными» гражданами либеральных обществ, у них возникла **естественная** потребность, чтобы это их самоощущение было признано законным и всеми остальными. Т.к. они предполагались еще и «свободными», им казалось, что они свободны при этом проявлять себя как евреи.

Добиться такого «братского» отношения оказалось практически невозможно ни в одной стране. Ибо оказалось, что евреи предполагаются равными лишь постольку, поскольку они неотличимы от других. Если же они **естественно** отличаются, их юридическое равенство только подчеркивает их выделенность. В конце концов, они вынуждены были признать самое свое положение в диаспоре **неестественным**. Ранний сионизм был построен на рациональных аргументах, «естественных»

правах (теперь их зовут «правами человека», но обоснованность этого понятия с тех пор не выросла) и вере в прогресс.

В сущности это было идеалистическое движение интеллигенции, и оно исходило из утопической веры в возможность для евреев избавиться от своей исторической уникальности на путях «нормализации» национальной жизни в духе возникновения новых государственных наций, вроде Чехословакии, Болгарии или Либерии. Казалось, что нормализуя нашу сегодняшнюю жизнь, освобождаясь от непосредственного давления окружающих народов, созданного сравнительно недавними историческими обстоятельствами, мы освободимся также и от того тысячелетнего бремени, которое взвалила на нас наша собственная история.

Однако очень скоро выяснилось, что узел проблем, завязанных вокруг еврейского вопроса, гораздо значительнее, чем демографическая и культурная проблема нескольких миллионов людей, составляющих еврейский народ. Рационализм XIX века оказался удивительно наивным во всем, что касалось человеческой природы, национальной жизни и социального устройства. Наиболее утопичными оказались как раз наиболее рациональные проекты. Впрочем, именно наивная поверхностность раннесионистской идеологии, ее простота (а также несоответствующие ей пророческая одержимость и выдающиеся политические качества ее глашатаев) обеспечила ей заметный успех в европейских странах.

Религиозный сионизм возник **раньше** светского, из более глубоких корней еврейского существования, и в XIX веке мог бы быть назван фундаменталистским течением. Этим словом мы называем обычно безоглядную преданность исходным, «фундаментальным» принципам, заложенным в Божественном Откровении. Такая преданность в религиозном сионизме, несомненно, была.

В соответствии с парадоксальной природой реальности все религии содержат неразрешимые противоречия. Все они также в своей традиционной практике вынуждены к непризнанным, идеологически недопустимым компромиссам. Поэтому различные фундаменталистские течения выигрывают, схематизируя Откровение, сосредоточивая внимание верующих лишь на некоторых из начальных заветов, **основных**, в соответствии со своим сегодняшним уровнем постижения.

Религиозный сионизм провозгласил **жизнь и труд в земле Израиля** более фундаментальным принципом, чем все остальные и, тем самым, подчеркнул свою верность духу иудаизма даже в условиях, когда это противоречило общепринятой практике и букве учения о Мессии.

Напротив, большая часть еврейского религиозного истеблишмента того времени сочла более фундаментальным буквальное выполнение ритуальных предписаний и веру в Мессию, который придет во плоти и установит торжество праведности одновременно с еврейским Государством.

Религиозный сионизм в XIX веке имел, к счастью, слишком мало сторонников, чтобы всерьез отпугнуть светское общество. Иначе его фундаменталистская основа сделала бы весь сионизм как политическое течение неприемлемым для тех самых еврейских и нееврейских либеральных кругов, из которых он черпал свою основную поддержку.

Однако именно религиозный сионизм имел дерзость найти **внутри еврейского вероучения** основания для отхода от средневековой позиции пассивного ожидания чудес. Настроение либеральной аудитории того времени отметило лишь этот, достойный уважения, нонконформизм. Интеллектуальное мужество этой небольшой группы обеспечило сионизму то зерно религиозного смысла, которое и сейчас сохраняет для него возможность укорениться в негуманном мире будущего века.

Русский сионизм (т.е. сионизм русских евреев, распространенный в более широких народных кругах, чем в Европе) с самого начала включал фундаменталистское отношение к земле Израиля и языку иврит. На VI Всемирном Сионистском Конгрессе в 1903 году именно голоса русских сионистов отвергли всякое иное территориальное решение еврейского вопроса и, вопреки настояниям и уговорам множества благожелательно настроенных европейских либералов, навсегда закрепили нерасторжимую связь этого движения с землей Израиля. Лорд Бальфур, автор известной Декларации, рассказывал, что был совершенно потрясен абсолютным нежеланием Х.Вейцмана даже взглянуть на «план Уганды».

Теперь, внутри сионизма, в израильской политической жизни, этот спор рационалистов с «фундаменталистами» возобновился с новой силой уже по поводу границ самого этого понятия (земля Израиля), в прямом и переносном смыслах, И на этот раз его решение, по-видимому, определится голосами русских евреев.

Таким образом, сионизм с самого начала оказался движением, которое не вполне укладывалось в рамки своего времени. Оно сложилось как гуманистическое, эмансипационное течение во времена, когда это было актуально, но уже и тогда содержало в себе фундаменталистский элемент, который сообщал ему его неординарный характер, приведший впоследствии к антисионистской резолюции ООН.

Именно эта неординарность дает теперь современному сионистскому движению шанс удержаться в реальности, в которой, возможно, уже не будет места нашим привычным гуманитарным ценностям.

Непредвзятого наблюдателя часто поражает некая заданная неординарность еврейской судьбы в целом, хотя отдельные события еврейской истории имеют аналогии и объяснимые параллели в истории других, достаточно древних, народов. Непонятность здесь заложена уже в явной недостаточности определений.

Казалось бы, еврейство можно определить как религиозную общину. Однако это также и народ, подавляющее большинство которого не придерживается никаких религиозных правил. Поэтому, кажется, трудно и ожидать от этого народа какой-нибудь фундаменталистской идеи.

Еще на памяти нашего поколения нацисты уничтожали евреев как вредную расу. Однако, спустя всего несколько лет после разгрома Германии, как будто в опровержение нацистской идеологии, в государстве Израиль собрались евреи из всех стран мира, принадлежащие всем человеческим расам. Трудно было, пожалуй, ожидать, что все они смогут ужиться между собой.

Еврейство имеет богатейшую культурную традицию. Однако большинство евреев, прекрасно владея многими современными культурами, лишь очень приблизительно ориентируются в своем собственном наследии. Вместе с тем (т.е. вопреки этому) они сохраняют историческую память и чувство общности, которые бросают вызов самой концепции времени.

Приходится признать, что мы имеем дело с объектом или процессом, который продолжает порождать исторические феномены, ускользая от однозначной определенности, свойственной устоявшимся реальностям. По-видимому, это означает, что еврейство как общность продолжает жить, и эта жизнь (вне определений, как всякая жизнь) остается творческим потоком событий, а не механическим повторением навсегда определившихся циклов.

Существует идея, что еврейство самим своим существованием доказывает первичность сознания по отношению к бытию. Подобно тому, как в прошлом оно сохранилось и выжило благодаря сознательным усилиям своего духовного ядра, оно как бы и будущее имеет в той именно мере, в какой является сознательным и духовным феноменом.

Наука не может отвечать на вопросы о сущности и причинах, а только об условиях и порядке протекания событий. Поэтому религиозная (т.е. фундаменталистская) интерпретация событий еврейской истории несколько не больше противоречит науке, чем ученые попытки их объяснения совпадением разных материальных и материалистических сил и условий. Непонятными остаются не сами совпадения, а их тенденция повторяться в судьбе именно этого народа, несмотря на грандиозные перемены в судьбах остальных народов во всем остальном мире.

Возникает вопрос. **Является ли судьба евреев необыкновенной, потому что они в каком-нибудь смысле необыкновенны сами, или, напротив, они необыкновенны только тем, что, вольно или невольно, принимают для себя всеобщую веру в свою необыкновенную судьбу!**

И та, и другая точка зрения, поневоле, и в своем еврейском, и нееврейском аспектах оказывается фундаменталистской.

По-настоящему удивительно то, что эта вера действительно является всеобщей. Весь вопрос, как ни странно, зачастую менее важен для самих евреев, часть из которых, может быть, по-прежнему не прочь избавиться от своей уникальности. Значительное число евреев, гуманистов и либералов, совершенно не признают своей выделенности, тем более избранности, и рассматривают сионизм как заурядную форму национализма.

Однако для громадных масс христиан и мусульман (т.е. для большинства человечества), заинтересованных в неприкосновенности фундаментальных основ своих вероучений, вопрос о избранности евреев не подлежит сомнению. Оба вероучения сугубо безразличны к жизни евреев.

В обеих мировых религиях роль евреев непропорционально велика не только в их прошлом, т.е. в их истории, но и в настоящем, ибо еврейская судьба, с их точки зрения, догматически определена. От адекватности этих определений зависит сохранность их веры сейчас и, соответственно, планы на будущее.

С христианской точки зрения, евреи своевременно не приняли истинного Мессию, и благодать теперь может вернуться к ним не иначе, как вместе с признанием Иисуса Христа. Такое возвращение, однако, в принципе не исключено, так как оно (вместе с подтверждением догмата об избранности) недвусмысленно предусмотрено апостолом Павлом:

«Итак спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак... Не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал. ...Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам...Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви.

...Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано: **придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова**. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. **Ибо дары и призвание Божие непреложны.**» (Посл. к римл., 11)

Есть христианские фундаменталисты, которые подчеркивают всякое слово Евангелий, напоминающее о неприятии Христа и соответствующей догматической вине еврейского народа, чтобы обосновать свой антисемитизм. Но есть и другие, которые больше полагаются на догму об избранности евреев и мессианский смысл возрождения Израиля. Католическая церковь еще не выбрала второе, но уже отказалась от первого, т.е. признала, что еврейский народ не несет на себе бремени коллективной вины.

Русская литературная и государственная традиция дает образцы фундаменталистского отношения к евреям, основанного на тех или иных религиозных принципах, а не на знакомстве с их реальной жизнью.

Например, антисемитизм российских властей до революции носил скорее догматический, чем натуральный характер, и в общем допускал реальное участие евреев (особенно крещеных) в имперской жизни.

Однажды мне пришлось прочитать письмо русского губернатора Западного края к царю, в котором вельможа XIX века советовал передать права на содержание кабаков «жидам-караимам, поскольку они не такого вредного вероучения, как остальные, и не признают богомерзкого Талмуда». Таким образом, он выступил не как хозяйственник, озабоченный благосостоянием своего края, а как христианский фундаменталист, чувствующий себя заинтересованным участником богословского спора. Также, на полстолетия раньше, по-видимому, чувствовала и императрица Елизавета Петровна, написавшая на докладе сановника Разумовского о возможной пользе вселения евреев в пределы России: «От врагов Христовых и пользы не надобно.»

Погромы и ограничения в правах евреев, напротив, вызывали у многих русских интеллигентов сентиментальное представление о еврействе, как о страдающем Христе, и соответственно страстное желание отождествления (Марина Цветаева: «С последним из сынов твоих, Израиль, воистину мы разопнем Христа!»). Многие выдающиеся русские философы и публицисты, как, например, В. Соловьев или Н. Бердяев, сочувственно относились к евреям как к людям (но не как к религиозной группе).

Еврейство как общность они, однако, воспринимали только в контексте своих фундаменталистских христианских представлений. В. Соловьев в эссе «Три разговора», написанном в 1899 г., набросал грандиозный апокалиптический сценарий всего последующего (нашего) века, в котором (всего на два года позже Т. Герцля) предсказал образование Еврейского государства. Он приписал ему пионерскую роль во всеобщей войне с Мировым Злом, которой еще предстоит развернуться как раз в ближайшее десятилетие (может быть, эта Война уже началась?). Хотя в самом конце, по его мнению, духовную победу одержит, конечно, христианство, эта духовная победа будет достигнута только благодаря предшествующей грандиозной военной победе евреев над бесчисленными армиями сынов Тьмы, собравшимися для нападения на Израиль со всего света, включая Китай.

Также и для нового, либерально-христианского течения в России, например, для историка С. Лёзова, отношение к евреям из конкретного, сегодняшнего вопроса превращается в пробный камень российского демократического сознания и рассматривается скорее как историческая характеристика русского христианства, в его основах, чем как рационально постижимая, межэтническая проблема. Такая постановка вопроса, наверное, гораздо более плодотворна, чем рациональный подход, но она еще дальше от либерально-гуманистического рассмотрения, чем даже религиозный антисемитизм.

Современная русская антисемитская публицистика приписывает евреям, и особенно сионистам, почти дьявольские черты. За ними слишком легко разглядеть фундаменталистские опасения авторов, застилающие весь их горизонт. В черном антисемитизме, который недавно возродился в России и то и дело вспыхивает во всех христианских странах, можно увидеть также и признаки радикально-фундаменталистского восстания против собственного христианства.

Во всех случаях и анти-, и филосемитская точки зрения в христианском мире равно исходят из фундаменталистских посылок и больше связаны с тем, как они трактуют Новый Завет и свою веру, чем со свойствами или действиями живых евреев. Гуманистическая позиция не позволила бы ни приписывать евреям (на очевидно мистических основаниях) коллективное поведение (все равно, в одобрительном или осудительном ключе), ни возлагать на них коллективную ответственность. Гуманистический принцип требует поставить отношение к человеку в зависимость от его конкретных действий, а не от возможности рассматривать его как представителя группы или заведомого нарушителя общих принципов.

Христианский мир в целом, однако, способен поддержать евреев при условии, что их коллективное поведение приблизится к христианским теоретическим нормам. Такое чудо (воистину, это было бы чудо, ибо никогда, ни в каком народе оно не наблюдалось) могло бы быть принято, как свидетельство их косвенного, де-факто хотя бы, признания Христа.

Действительно, почти безропотная смерть миллионов евреев в лагерях уничтожения во время Второй мировой войны произвела именно такое фундаментальное впечатление и обеспечила оставшимся в живых значительный моральный капитал в христианских странах, который и по сей день еще не полностью растрочен. Однако военные победы Израиля и умно поставленная пропалестинская пропаганда быстро свели на нет это моральное преимущество. Сочувствие христианина неотвратимо сползает от победителя к жертве, и, поскольку побед без жертв не бывает, нам остается только решить, как далеко мы согласны пойти, чтобы удовлетворить христианскому идеалу страдающей правоты.

С точки зрения Ислама, для которого исторического времени не существует, евреи, не оправдав Божественных ожиданий, уже упустили свой шанс и обречены на свой второразрядный статус по отношению к мусульманам навеки.

Мир Ислама также способен подарить евреям долгожданный мир, но только при условии, что они потерпят военное и моральное поражение. Это свидетельствовало бы о безусловной и бессрочной справедливости пророчеств Магомета, который утвердил относительную терпимость по отношению к еврею, проявившему покорность в отношении к правоверным. Историческая заносчивость евреев, проявившаяся в их заведомом техническом превосходстве и, как следствие, превосходстве военном, больно ранит самоуважение мусульманина и приводит его на край сомнения

в его основных принципах. Ислам гораздо материалистичнее Христианства и не учит смиряться с земным поражением в расчете на духовную победу. Напротив, смерть в бою теоретически представляется мусульманину хорошим завершением праведной жизни, а военная доблесть — специфически мусульманской добродетелью. Военное превосходство Израиля означает разрушение всего их космоса. Поскольку мир Ислама находится в додемократическом состоянии, при котором он не может открыто обсуждать даже свои сугубо внутренние проблемы, он в еще меньшей степени способен произвести анализ или догматический пересмотр своих отношений с еврейством.

К осознанному конфликту с еврейством в исламе добавляется еще и неосознанное перенесение на евреев их затяжного, векового конфликта с христианством. Существование и процветание христианского мира задевает чувства мусульман не менее, чем способность евреев вписаться в это благополучие. И то, и другое, очевидно, не согласуется с заветами Магомета и, рано или поздно, должно быть разрушено праведным мечом.

Поэтому крайние формы мусульманского антисемитизма смыкаются с антихристианским пафосом черносотенных движений европейских стран.

Обе религии очень ревниво следят за еврейской судьбой, ожидая от нее, наконец, подтверждения своих глубочайших убеждений и, попутно, опасаясь нарушения религиозного спокойствия своих приверженцев. Отклонение реальных евреев от запланированной для них теоретической предназначенности воспринимается обеими конфессиями болезненно и может привести к догматическим кризисам и идеологическим катастрофам.

Итак, фундаменталисты всех толков ищут почему-то опору своим убеждениям в еврейской судьбе. Ирония истории проявляется в том, что современный гуманизм также постепенно приобретает догматически-фундаменталистский характер и, вместо первоначальной открытости компромиссу (вспомним, что одним из первых гуманистов был Маккиавелли), требует от своих последователей непреклонной преданности своим принципам, как будто они тоже возведены на высшее. В отношении Израиля и евреев это проявляется в невероятной политической требовательности к ним со стороны либеральной интеллигенции всех стран, как если бы именно современный Израиль обещал им окончательное мессианское торжество принципов гуманизма в этом мире.

Жизнь евреев, таким образом, отчасти мистифицирована и опосредована пристальным вниманием других народов.

Сами проявления этой жизни также служат источником новых идеологических течений в нееврейской среде. Так, возникновение государства Израиль породило идеологию «палестинского народа», а затем и сам этот народ, который не существовал до государства Израиль и вряд ли смог бы выжить, если бы это государство прекратило свое существование. Не менее интересно и возникновение «христианского сионизма», которого не было на свете до появления Израиль на исторической сцене, хотя евреи, разумеется, нуждались в христианском сочувствии до образования государства гораздо больше, чем после него. Независимо и вопреки нашему желанию, все они участвуют в борьбе за тот или иной вариант нашего будущего.

Конечно, и нам небезразлично наше будущее. И оно в очень высокой степени зависит от нашей оценки настоящего. А также от нашей, основанной на этой оценке, волевой деятельности. Поэтому наше предвидение, наша, так сказать, линия судьбы, является не научной констатацией, зависящей только от уже известных фактов. Предвидение будущего является также и формой влияния на это будущее в избранном нами направлении, вопреки влиянию многих неизвестных и некоторых недооцененных факторов. Вот почему я назвал такую форму теоретизирования **заклинанием будущего**. Она, без сомнения, имеет практическое значение и поэтому оказывается полем ожесточенной борьбы.

Основное содержание сионизма в этой борьбе — **отучить евреев рассматривать себя глазами других народов** в свете чужих глобальных интересов. Это значит перевести их из статуса объекта в субъект истории. **Естественно**, что евреям в целом, в их догосударственном существовании, была присуща оппортунистическая, компромиссная позиция, соответствующая их возможностям. И эта компромиссная, объективистская позиция в значительной мере определяла легализм и гуманизм еврейского истеблишмента. Превращаясь в субъект истории, евреи берут на себя историческую ответственность, которой никогда не было на них прежде. Остается ли по-прежнему место гуманизму, объективности, компромиссу в этой новой расстановке идеологических сил?

Гуманизм, **естественно**, сопровождал еврея в диаспоре, ибо обстоятельствами своей жизни он вынужден был опираться больше на себя самого и свою оценку объективных условий, чем на содействие традиционных общественных институтов. В нелиберальных странах еврей попадает в уязвимое положение представителя незащищенного меньшинства. И это развивает в нем предприимчивость, солидарность и сочувствие к угнетенным. В либеральных обществах также, как правило, поощряется еврейская предприимчивость. Но почему остаются солидарность и сочувствие к угнетенным? Почему во всех, без исключения, свободных странах евреи всегда оказываются политически левее центра? Возможно, просто потому, что и в либеральных обществах они ощущают свою уязвимость. Но, скорее, также и потому, что либерально-гуманистические ценности составляют интегральную часть иудаизма, т.е. включены в его основные принципы. Насколько важной для нас окажется эта часть, будет зависеть не столько от нашего добросердечия, сколько от того варианта фундаментализма, который изберет будущий израильтянин.

В еврейском государстве гуманизм превращается из само собой разумеющейся части мировоззрения угнетенных и обиженных меньшинств в часть национальной традиции, которую еврейский народ вынес из диаспоры. Отвергнуть ее значило бы снизить еврейский характер нашего государства. Однако дальнейшая судьба гуманизма в нашем обществе не обеспечена. Она определится не борьбой между сторонниками гуманизма и фундаментализма, как это представляется многим, а противостоянием фундаментальных принципов внутри самого иудаизма. Религию может победить только религия. Это ясно видно на примере коммунистического атеизма. Гуманизм в его истинном, а не догматически закристаллизованном виде призван не заменить религию, а всего лишь приспособить ее к современной жизни. Задача интеллигенции в этой борьбе вовсе не отмежеваться от религиозной традиции (так как это только поставило бы ее в положение вне игры), а найти **внутри** традиции **фундаментальные** опоры для своего гуманизма, близкие сердцу каждого еврея.

Хотим мы этого или не хотим, наши успехи и поражения, а также наши грехи и заслуги имеют всемирно-исторический характер и всемирно-историческое значение. Народы, принадлежащие к двум основным мировым религиям, всегда находят в себе достаточно внимания к нам, чтобы помнить о нашем существовании и иметь мнение по его поводу.

Антисемитизм в мире существует как уродливая проекция этого преувеличенного всеобщего внимания.

Поэтому и отношение к сионизму во всем мире, и его реальный смысл не так однозначно определены, как этого хотелось бы отцам-основателям в прошлом столетии. Сионисты, определявшие сионизм всего лишь как форму еврейского национализма, не учли глубины заинтересованности нееврейского мира в судьбе евреев.

Нацистские преследования своим грандиозным размахом и фундаменталистским характером обнажили истинную меру этой заинтересованности и возможный масштаб проблемы. Антигуманистическое и антихристианское настроение нацистов не случайно избрало евреев своей главной мишенью. Евреи оказались заложниками и впоследствии жертвами этого внутриевропейского спора о путях развития их цивилизации.

Гитлер, будучи припадочным визионером, неоднократно подчеркивал, что, собственно, ведет Мировую войну не с Россией или Америкой, а с мировым еврейством. Хотя с точки зрения большинства цивилизованного человечества это утверждение казалось свидетельством искажения адекватной картины мира в его мозгу, именно оно, это искажение, оказалось вдохновляющей формулой, приемлемой для многих миллионов людей не только в его времена, но и в наши дни, когда все остальные его идеи полностью скомпрометированы. Пожалуй, только сейчас, после объединения Германии, окончательно определится, проиграл ли Гитлер свою войну против евреев навсегда и невольно толкнул свой народ — после грандиозного разгрома — в лоно либерализма, или мы были свидетелями только одного из эпизодов этой борьбы.

Также и сейчас определенное течение в Исламе, переживая свой многовековой конфликт с европейской, христианской культурой, пытается сделать евреев заложниками в своей борьбе из-за той фундаментальной роли, которую они играют в обеих религиях. Иногда это неплохо удается, и мусульмане находят себе множество сторонников внутри самой христианской цивилизации, которая полна противоречий и, в основном, на том и держится.

Вся послевоенная история евреев и государства Израиль совершенно ясно показывает, что борьба за будущее евреев есть также и борьба за тот или иной образ всего остального мира. Ибо реальная судьба сегодняшних евреев и их государства вносит и в мировоззрение традиционных евреев, и в устоявшиеся представления других народов такие коррективы, которые требуют готовности к пересмотру их самых фундаментальных посылок.

Именно в этом смысле сионизм не сводится к еврейскому национализму и является универсальным мировым движением фундаментального характера. В то же время сионизм есть чуть ли не единственная форма национализма, которая имеет органическую фундаментальную тенденцию сочетаться с либерализмом. Когда лидер какой-нибудь страны хочет подчеркнуть свою преданность либеральным ценностям и идеалам гуманизма, он в первую очередь расшаркивается перед евреями. Когда король Испании захотел сказать, что фашизм больше не вернется в Испанию, он торжественно отменил эдикт пятисотлетней давности о изгнании евреев. Когда нищая Восточная Германия захотела присоединиться к Свободному Миру, она провозгласила, что принимает на себя долги евреям-жертвам гитлеровских репрессий. Когда президент Лех Валенса понял, что Польша нуждается в доверии Запада, он попросился с визитом в Иерусалим. Если бы сионизма не существовало, его бы стоило выдумать. И его бы выдумали...

Как бы фантастически антидемократические и антилиберальные силы во всех странах ни искажали для собственных нужд смысл и цели этого движения, они, однако, правильно видят сионизм как потенциально опасного противника. Еврейский народ приговорен к этой идеологии своей судьбой, как члены царствующей династии приговорены к монархизму.

ИСХОД

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

(Впервые опубликовано в самиздатском сборнике «Евреи в СССР», № 7, Москва, май-июнь 1974; перепечатано в сб. «Еврейский самиздат», т. 10, Иерусалим, 1976)

Стремление к объективности играет с нами, быть может, самые злые шутки. Когда царю Соломону предложили определить, кто настоящая мать ребенка, из-за которого спорили две женщины, он велел разрубить ребенка пополам и «справедливо» отдать по половине каждой. Более объективная согласилась с этим справедливым решением, и именно по ее «объективности» Соломон безошибочно узнал самозванку. Настоящая мать предпочла отказаться от ребенка и стерпеть несправедливость, лишь бы сын ее остался жив.

Наш еврейский ребенок чудесным образом еще жив, несмотря на то, что уже много лет он воспитывается чужой, слишком объективной матерью. Посмотрим же на него не со строгостью профессиональных поборников разных типов благочестия, удивляющихся, что он еще жив вопреки очень правильным теориям, а с любовью и пониманием, продиктованным родственным чувством. Вглядитесь! Вы увидите у этого приемыша, беспризорника свои фамильные черты, свои наследственные признаки, даже свои типичные (и небезобидные) чудачества.

Некоторая переоценка роли политических факторов вообще, и в судьбе евреев России в частности, внешние обоснования антисемитизма, основанные на представлении, что мы, якобы, ничем от других не отличаемся, и нас не за что ненавидеть, и постоянно присутствующий в сознании образ некоей планируемой и всеудовлетворяющей справедливости очень характерны для взглядов советских евреев. Также, и в меньшей степени, некий голубиный, вневременный и внепространственный гуманизм, позволяющий рассматривать жизненные нужды своего народа «объективно», как бы с высоты птичьего полета, при котором «нет ни эллина, ни иудея», типичны для «русского интеллигента еврейского происхождения», которым и стал в своей определяющей группе советский еврей.

В реальном мире непрерывно происходят различные изменения, и характер этих изменений, возможно, тоже меняется со временем. В отличие от реальностей, слова, которыми мы их обозначаем, долгое время могут оставаться неизменными. Это обстоятельство часто создает почву для трагических конфликтов даже внутри одной души, а тем более — между разными людьми, употребляющими одни и те же слова в их разных значениях: отжившем и вновь приобретенном.

В еще большей степени, чем сами слова, источником недоразумений в меняющемся мире оказываются сцепленные в сознании пары слов, связь между которыми определяется старой семантикой, а не сегодняшним течением жизни. Такие пары создают в сознании мнимые антиномии, вынуждающие нас занимать одностороннюю позицию в споре, которого в действительности нет.

Множество таких окаменевших антиномий загромождают наше поле зрения, не давая взглянуть на явление или другого человека без участия некоего третьего действующего лица. Это таинственное лицо, представляющее Сложившееся Мнение, а точнее, обломки сложившихся в прошлом мнений, оказывается тем влиятельнее, чем меньше его присутствие осознается и учитывается нами. «Революция и реакция», «правые и левые», «гуманизм и насилие», «национальное и общечеловеческое», «свобода и ограничение» и даже «ум и глупость». Все эти противопоставления в конкретной жизни могут быть оспорены и вывернуты наизнанку. Реальный мир не описывается двоичной логикой, и для языка недостаточно пары «да — нет».

В этой статье рассматривается проблема, которую такое двоичное, поляризованное сознание должно было бы охарактеризовать антиномией: «ассимиляция евреев или сохранение их национального своеобразия». Мне кажется, что здесь мы имеем типичный случай, когда традиционная постановка вопроса только запутывает его и уводит в сторону от реальных задач, а противопоставление не затрагивает существа проблемы, лежащей в иной плоскости.

Во всех обычно употребляемых смыслах слова «ассимиляция» около двух миллионов русских евреев давно ассимилированы, и вопрос об ассимиляции для них не стоит. Но зато вопрос об их национальном своеобразии только теперь, после окончательной ассимиляции в России, приобрел действительную остроту и выступил в незамаскированном виде. Если прежде, чтобы удовлетворить национальные чувства евреев, предполагалось достаточным открыть для них театр на идиш, то теперь мы сталкиваемся с таким комплексом культурных и политических проблем, который даже в СССР (стране, где нет нерешенных вопросов) вывел этот вопрос из числа скрытых и превратил чуть ли не в один из самых актуальных вопросов советской политики.

Чтобы объяснить этот феномен, совершенно недостаточно жалоб на антисемитизм властей или ссылок на положение на Ближнем Востоке. Необходимо еще признать наличие чего-то реального, что вызывает этот антисемитизм и может использовать положение на Ближнем Востоке, поскольку оно ему небезразлично. Это что-то, по-видимому, двух-трехмиллионный еврейский народ в России, обладающий еще достаточным своеобразием, чтобы стать объектом антисемитизма, и достаточной исторической (или этнической) памятью, чтобы интересоваться положением на Ближнем Востоке. Даже среди сверхобъективных русских евреев мало таких, которые станут утверждать, что положение в Юго-Восточной Азии волнует их так же живо.

Людей, задумывающихся на эту тему, обычно сбивает с толку тот несомненный факт, что родным языком всех этих евреев оказывается русский язык. Не означает ли это, что мы и сами уже русские? Да. Означает. В такой же степени, как «сефард» означает испанец, а «ашкенази» — немец. Но все же это не больше, чем названия разных групп евреев.

Грузинские евреи уже несколько веков говорят на грузинском языке, но никто еще на этом основании не отрицал существования грузинских евреев как национальности. Конечно, грузинские евреи зато сохранили гораздо больше традиционных особенностей в своем житейском и духовном обиходе, но сам по себе этот факт свидетельствует о второстепенности языка как признака,

определяющего национальную принадлежность. В тысячелетней истории диаспоры разные группы евреев в разное время переходили на иранский, испанский или верхне-немецкий (а в античное время и на греческий) языки, создавали даже богатую литературу на этих языках и, тем не менее, оставались евреями для себя и других. Смена языка переоценивается нами в случае русских евреев, потому что она произошла в исторически рекордный срок и почти на наших глазах. Мы не можем отнестись к этому факту академически спокойно и переоцениваем его идеологическое содержание. Но вчуже мы все отлично знаем, что язык вовсе не определяет национальную принадлежность (ирландцы, мексиканцы и т.п.).

Можно было бы привести еще множество примеров, по которым было бы видно, что и все остальные объективные признаки национальности столь же второстепенны, чтобы не сказать несущественны. Среди других признаков следовало бы выделить вероисповедание, которое традиционно определяет национальную принадлежность евреев. Но распространенность атеизма (вернее, его внешнего проявления) в СССР сделала евреев и в этом пункте объективно неотличимыми.

Национальная принадлежность никогда не является абсолютно несомненной — даже цвет кожи зачастую может оспариваться — и не может быть превращена в объект изучения сама по себе. Национальная принадлежность в существенной степени определяется субъективно (самими членами этнической общности или окружающей средой), как, например, принадлежность к семье (Иванов может принадлежать к семье Хаима Рабиновича, а Абрам Рабинович оставаться однофамильцем) и может изучаться только по своим последствиям и отражению в поведении. Но разве наше поведение определяется научными соображениями? Наше поведение (в национальном вопросе, скажем) определяется осознанным выбором (пусть даже не всегда свободным; у людей с черной кожей или с особенно выдающимся носом выбор существенно ограничен), который в свою очередь определяет судьбу. А разве мы строим свою судьбу в угоду каким-нибудь теориям (особенно научным)?

По-видимому, в основе национального самоопределения всегда лежит миф об общности происхождения, причем степень достоверности, так сказать, реалистичность этого мифа есть наименее существенное его свойство. Важным в действительности оказывается его духовное богатство, содержательность, определяющая приемлемость или неприемлемость для народа соответствующей традиции и ее способность быть основой мировоззрения. Нет нужды доказывать, насколько определяющим было влияние Пятикнижия на формирование душевного строя и культурной ориентации евреев. Пока молодая идишистская культура внушала советскому еврею, что он произошел от героя Шолом-Алейхема, он не спешил откликнуться на зов предков. Но когда советский еврей, перейдя на русский язык, дошел в своей русской культуре до необходимости прочитать Библию, свершилась победа Моисея, и множество ушей отверзлось, чтобы слышать.

Когда русский человек читает Библию, он может и не соотносить слова об избранном Богом народе с известными ему из обыденной жизни востроглазыми людьми. Но еврею читать Библию и не соотносить ее с собой невозможно. Немало способствует этому процессу происходящая в широких слоях советской интеллигенции консолидация русских национальных сил... Пока речь шла о противопоставлении Ф. Тютчева и Ф. Достоевского Н. Некрасову и Н. Чернышевскому, простодушные евреи бежали в самых первых рядах. Но теперь доходит до необходимости предпочесть сбивчивый и малопонятный миф о русском народе-богоносце чуть ли не Синайскому откровению. Тут задумаются и самые бойкие.

Спектр русской национальной мифологии очень широк: от «Москва — третий Рим» и, соответственно, «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя», до «Сплотила навеки великая Русь» и «Я русский бы выучил только за то...» Но в любом варианте этот миф оспаривает историческое первородство Израиля, и поэтому отношение к евреям в русской культуре не может быть уподоблено другим этническим предрассудкам и предпочтениям — это вопрос онтологический, как и для христианской цивилизации в целом. Принять этот миф для еврея — значит повторить подвиг Исава. Вот почему все евреи в русской культуре — западники и предпочитают чаадаевскую линию в этой культуре славянофильской.

В нашей жизни в СССР, кроме национальных мифов, присутствует еще миф, обещающий в конечном счете интернациональную общность людей — миф социального детерминизма. Вообще говоря, обсуждать мифы с точки зрения их достоверности — неплодотворно. Мифу может противостоять только другой миф, и оцениваться они могут только по их приемлемости и духовному содержанию. Но, возможно, миф, претендующий на научную обоснованность, должен составить исключение и может обсуждаться с точки зрения методологических обоснований.

Наука, чтобы оставаться наукой, должна иметь предмет изучения, существующий не только внутри нашего сознания, не зависящий хотя бы от сознания пишущего. Но национальная принадлежность и связанное с ней самочувствие, определяющие мотивы действий, принадлежат как раз к кругу понятий, целиком зависящих от нашего сознания и вне его даже не существующих. Поэтому наукой в этой области могло бы быть только эмпирическое наблюдение фактов и лишь отчасти объяснительная интерпретация. Последняя уже может сильно зависеть от национального сознания наблюдателя. Марксизм, однако, напротив, исходит в национальном вопросе (как подчиненном к основному, классовому) из предписывающих теорий (например, «что полезно для дела пролетариата»). Поэтому в научном отношении он не более доказателен, чем любая другая предписывающая идеология: «возлюби ближнего твоего», «не противься злему» или «падающего толкни».

Очень хорошо представляет марксистскую точку зрения большая работа, написанная Р.А. Медведевым.

Р. Медведев придает проблеме ассимиляции евреев откровенно гражданский характер, благодаря чему его рассмотрение проблемы обладает известной логической законченностью. Существенными здесь мне представляются три четко сформулированных положения:

1) Ассимилированный еврей — не еврей, а русский.

2) Признаком ассимиляции является язык и общая культурная ориентация, а также участие в соответствующей общественной жизни.

3) Добровольная ассимиляция есть процесс прогрессивный (то есть, по — видимому, полезный для дела пролетариата), а антисемитизм, мешающий ассимиляции, — явление реакционное.

Должен сказать, что эта система взглядов представляется мне вполне последовательной, и я не мог бы указать в ней на логические изъяны, кроме той мелочи, что насильственная ассимиляция кажется мне несколько не менее прогрессивной, чем добровольная, поскольку само понятие прогрессивности определено без всякой оглядки на субъективные ощущения ассимилируемого. Как всякая дедуктивная система, имеющая аксиоматический фундамент, она может существовать, лишь пока суровая действительность не заставит нас усомниться в самих аксиомах. А нужно сказать, что действительность, в отличие от теорий, логически безупречной не бывает и, похоже, только тем и держится.

Если всерьез принять точку зрения Р. Медведева, то следует признать, исходя из двух первых его положений, что евреев в России, по сути говоря, нет, хотя их исчезновение и нельзя назвать вполне добровольным. Тогда официальные журналисты **в сущности правы**, когда они утверждают, что в СССР нет еврейского вопроса (ведь нет евреев, откуда же вопрос?). Но тогда и антисемитизма, в сущности, тоже нет (и третий пункт работы повисает в воздухе).

Чтобы избежать таких парадоксальных выводов, Р. Медведеву приходится создавать у читателя своей работы такое впечатление, будто бы где-то в СССР есть современная еврейская культура и еврейский язык, и советскому еврею только еще предстоит выбор (добровольный или какой-нибудь другой) между русской и еврейской культурами. Между тем уже больше двадцати пяти лет (время созревания целого поколения) русские евреи не имеют никакой альтернативы русской культуре, если не считать Арона Вергелеса, чьи дети уже не способны прочитать издаваемый им журнал «Советиш Геймланд», потому что они действительно русские (не только по определению Р. Медведева). Таким образом, русские люди (многие даже и по паспорту) вызывают неприязненные чувства, называемые в просторечии антисемитизмом, тысячами толпятся в последнее время у синагог и изучают иврит, по-видимому, с единственной целью — опровергнуть марксистские теории. Правда, можно было бы еще предположить, что они мстят за свою недобровольную ассимиляцию, если бы большинство современных русских евреев не происходило как раз от той части российского еврейства, которая ассимилировалась еще до войны и, следовательно, почти добровольно (больше миллиона традиционных евреев погибло в своих местечках во время войны). Внелогическая природа реальности, таким образом, самым пагубным образом сказывается на применимости марксистской теории.

Люди, которые вызывают раздражение окружающих, выдумывают про себя антисемитские анекдоты и с замиранием сердца следят за судьбой государства Израиль, виртуозно владеют русским языком (и никаким другим) и в остальное время, в разной степени и с разной интенсивностью, занимаются развитием русской технической и гуманитарной культуры. Многие из них достигли в этом деле заметных успехов. Но еще ни один не достигал предела, за которым окружающие забыли бы, что он еврей. Это редко удается даже и тем, у кого только мать еврейка.

Означает ли такая неотступная память патологический антисемитизм среды, в которой мы живем?

По правде говоря, вовсе нет.

Видеть чуждое чуждым еще не значит ненавидеть. Иногда это даже означает — любить. Максим Горький, например, очень любил евреев. Он был филосемитом. Но суть здесь в том, что он их отличал, а это делает все разговоры о прогрессивности ассимиляции по меньшей мере бесплодными. Любить евреев или не любить — дело индивидуальное, а быть русским или **считаться** им, вопреки видимому, хотя бы и по праву — это проблема массовая. Решить эту проблему, рекомендуя русским людям прижмуривать глаза, чтобы не так ясно различать, вряд ли когда-нибудь удастся.

В статье Р. Медведева приведены (со ссылкой на известного диссидента Л. З. Копелева) два случая национального самоопределения личности в сомнительной ситуации, которые кажутся мне очень удачными для характеристики общей проблемы.

Русский дворянин Р. Пересветов, принимаемый всеми окружающими в сталинских лагерях за еврея, не стал оправдываться, выучил еврейский язык, принял на себя все неприятности, связанные с таким отождествлением, и был хорошо принят в еврейской среде.

Сам Л.З. Копелев, записавшись в начале 30-х годов (когда это делалось добровольно) евреем, несмотря на свою полную поглощенность русской культурой, был пристыжен своим комсомольским руководителем. Комсорг (одобряемый Л. Копелевым) упрекал его в «мелкобуржуазном уклоне», состоявшем в том, что Копелеву было почему-то стыдно отказаться от своего еврейского происхождения при наличии на свете антисемитизма (как пережитка капитализма, конечно). Он, таким образом, как бы делал им («классовым врагам») послабление.

В обоих случаях, на мой взгляд, выступает на первый план тот несомненный факт, что человеку недостаточно самому считать себя русским (или евреем). По-видимому, существенно также, что по этому поводу думают окружающие.

Национальность — это в значительной степени конвенциональная (условная и обусловленная) характеристика, связанная с взаимным принятием обязательств: личность берет на себя обязательства, необходимые с точки зрения ее среды, а среда-народ выполняет обязательства-условия, достаточные для существования этой именно личности. Такой принцип «принятия в народ» (равносильный заключению Завета с Богом) господствует в Ветхом Завете и остается определяющим во всей Западной цивилизации, высоко оценивающей обоюдность в договорных отношениях и соблюдающей равновесие прав и соответствующих обязанностей.

Можно возразить, что так в партию вступают. Действительно, похоже. Но так вступают и в семью. Глубина согласия личности со средой может быть очень разной, и личность может как угодно далеко продвигаться по пути этого слияния либо как угодно рано остановиться на этом пути. Р. Пересветов, конечно, поступил лучше тех евреев, которые навязываются в братья людям, упорно желающим избежать этого родства, но он, наверное, продолжал все же считать себя русским для самого себя и вряд ли скрывал это от своих товарищей-евреев. Таков уровень причастности личности к народу в том гражданском смысле, который, по-видимому, исчерпывается марксистскими определениями. Он объективно существует и всю внутреннюю душевную (и духовную) жизнь человека оставляет почти незатронутой, как всякая объективация. Неизмеримо глубже взаимоотношения с родом Иакова у библейской Фамари, добившейся удела среди сыновей Израиля для своего потомства. Здесь (а также в книге «Руфь») выступает религиозный смысл приобщения к народу как семье. Но и судьба Фамари построена на тех же договорных началах и чувстве ответственности, заставившем Иуду сделать шаг ей навстречу. Когда он сказал: «Она правее меня...», он признал ее права равными своим. На любом уровне (договор или Завет) принятие в члены любого сообщества остается актом двусторонним и обоюдно обязывающим.

Совершенно иная ситуация осуществляется при ассимиляции еврея в русской среде. Вслепую, в ранней юности, он делает несколько шагов навстречу русскому народу и, прозревая с возрастом, убеждается, что никто не спешит ему навстречу. Нужно сказать, что так было не всегда. Вернее, не во всех группах населения громадной, способной заслонить человеку весь остальной мир, России.

С начала двадцатого века, и особенно после революции, в русской культуре намечалась универсалистская тенденция, захватившая множество людей нерусской крови (в том числе и евреев) иллюзией сверхнациональной общности на богатой почве русской литературы XIX века. Этот соблазн для евреев, грузин, украинцев и др. сопровождался искренним порывом навстречу со стороны какой-то части русской интеллигенции. Но сколь бы ни были искренни чувства этой небольшой группы, они не компенсируют того факта, что она никак не была уполномочена своим народом на такие авансы. Наивный, восторженный комсорг Л. Копелева в 30-е годы мог не знать, что антисемитизм распространен не только среди «классовых врагов», но, вообще говоря, и тогда это было известно многим и, во всяком случае, всем, кто желал знать правду. Л. Копелев при выборе своей национальности вопреки своим идеалам поступил правильно из соображений интуитивных, нравственных, которые всегда, в конечном счете, оказываются точнее наукообразных рассуждений.

Никаких обязательств быть справедливее к евреям за то, что они будут лучше говорить по-русски и меньше размахивать руками, русский народ на себя не брал. Наоборот, возникает впечатление, что не говори мы так хорошо (прямо залиvisto) по-русски и отличайся хоть длинными пейзажами, что ли, русские терпимее относились бы к нам. Они таким образом как бы чувствовали, что с нашей стороны нет претензии на хозяйские права по отношению к русской культуре и национальным святыням. Но в том-то и дело, в этом-то вся трудность и реальная боль, что такая претензия есть.

Добровольно лишились евреи в России своей культуры или насильственно, во всяком случае теперь они не имеют никакой другой культуры, кроме русской. Добровольно ли они оказались вне собственной религии или это произошло под нажимом, но теперь они не имеют никакого выхода своей религиозной энергии, кроме того, который возможен на русском языке и в пределах русской культурной ориентации. Для народа с такой громадной культурной и религиозной потенциальностью, как евреи, это означало творческое, хозяйское отношение ко всем сферам русской культурной жизни, оказавшее на нее заметное (может быть, еще не оцененное) влияние. В литературе, науке, живописи и даже в православной церкви евреи создают прецеденты профессиональной деятельности, которые не могут оставить русского человека равнодушным и своим ярким своеобразием вызывают столько же высокое уважение, как и лютую неприязнь. Евреи составляют всего 1-2 процента населения России и Украины, но в русской культуре их процент в десять раз больше. А их действительная культурная роль непропорционально выше количественного соотношения, потому что культура — не производство мануфактуры. Совершив по отношению к евреям некоторое неосознанное насилие, русская культура попала в плен, последствий которого никто не мог предвидеть. Так народ, угнетающий других, оказывается несвободным сам.

Вопрос, обогащают ли евреи при этом русскую культуру, в таких условиях лишен смысла, хотя бы потому, что сложился массовый потребитель культуры — еврей.¹ Среди лиц с высшим образованием евреи составляют около 5%, а среди научных работников, врачей, адвокатов и артистов около 10%, но уже среди докторов наук в Москве они насчитывают больше 25 процентов... Писатель, который издает книгу тиражом 0,5 млн. экземпляров, может никогда не узнать, что ста

миллионам русских книга эта могла бы не понравиться, если он сумел угодить своим читателям-евреям.

Русский человек вовсе не склонен отказываться от кавказского шашлыка, цыганской песни или еврейского анекдота. Но он бессознательно (а часто и с намерением) хочет оставить их на периферии своего сознания. И вклад евреев в русскую культуру остается для него периферийным, побочным явлением.

Однако еврей, которого не спросив сделали русским, не таков, чтобы позволить себя не замечать. Он всегда танцует в самой середине сцены. Он навязывает окружающим свои вопросы как коренные вопросы бытия², и антисемитизм становится гвоздем, за который русский человек зацепляется, куда бы он ни шел по своему узкому коридору. «Культура общая — значит и моя!» — вот формула, перед которой многие русские интеллигенты отступают, но почти никто не смиряется. Если права евреев на русскую культуру рассматриваются евреями как прямое продолжение их гражданских прав, многими русскими они воспринимаются как экспансия и покушение на их неотъемлемое достояние. Но... Культура — не материальная ценность и вовсе не принадлежит поровну всем, кто работает и ест.

Отсутствие традиции договорных отношений в России, непонимание взаимности обязательств и, таким образом, самого духа Завета, оказывало и оказывает чудовищное воздействие на всю историю и общественную жизнь СССР. В очень большой мере сказывается этот фактор и на рассматриваемой нами проблеме. Самозванство евреев, желающих во что бы то ни стало и вопреки всему развивать русскую культуру³, с избытком компенсируется наглостью властей, не желающих расплачиваться за многолетнее использование и эксплуатацию еврейских талантов и трудолюбия, лишивших евреев собственной общественной жизни и культуры и теперь вытесняющих их из общей. Так многолетнее пренебрежение взаимностью интересов приводит к взаимности претензий и обид...

На наших глазах сейчас творится история русского народа, и мы должны признать его право на свободный исторический выбор. Я даже думаю, что мы сейчас должны отойти в сторону и, пока не поздно, отделить свои проблемы от его проблем. Иначе он решит наши проблемы вместе с нашей судьбой, и это решение будет радикальным.

Русский народ, даже в лице лучших своих представителей, ведет себя сейчас по отношению к евреям так же, как евреи периода восстановления Храма вели себя с самаритянами. Было ли это справедливо? — Такой вопрос по отношению к Истории неправомерен, русская интеллигенция сейчас пытается восстановить свой храм и при этом имеет право на некоторые иллюзии, что бы мы ни думали об этом. Мы — не самаритяне и не так бедны, чтобы навязываться к русской истории в нахлебники (в настоящей ситуации, как и полвека назад, это наполовину значит — в наставники). Достаточно было сделано исторических бестактностей в прошлом.

Может быть, основа исторического нонсенса, в который превращается проблема ассимилированных евреев, коренится в том недостатке чувства меры, который всегда выделял нас среди других народов. Когда наши деды вышли из местечек в большие города и отцы перешли от еврейского партикуляризма к еврейскому же универсализму, для нас было самое время остановиться на этом. «Я положу песок границей морю и, хотя волны его устремляются, хоть они бушуют, но перейти не могут... А у народа сего сердце буйное и мятежное... Они отступили и пошли...» Продолжая этот путь, мы прогневили Бога, не заметив, как, идя все дальше, отошли назад. От еврейского универсализма наше поколение, воображая, что идет к общечеловеческому, скатилось просто к русскому великодержавию. Недаром на Украине и в Литве к обычному антисемитизму добавляется еще ненависть к евреям как к русификаторам.

Наверное, всякий путь «дальше» был бы путем назад, потому что мы еще не исполнили свой Завет, от которого не освободит ни ассимиляция, ни идишистская народная культура. Мы лишены традиционной веры, но религиозное ощущение призванности и миссионерский пыл еще живы и постоянно искушают вопросом: «Кто, если не ты?» На том языке или на этом, по материальным причинам или по глубокой вере, в гневе или обдуманно, мы не в силах разорвать Завет, заключенный на тысячелетия в точке, которую никогда не перестанем считать началом нашей истории.

¹ Интересно, что Р. Медведев в качестве примера, обогащающего развитие русской культуры, настойчиво рекомендует широко известного артиста Аркадия Райкина, который вызывает особенно злобную реакцию русских националистов (см. журн. «Вече»), как опоздатель и засоритель русской культуры, чуть ли не подосланный им мировым сионизмом.

² Они и есть коренные вопросы бытия, но каждый народ ставит их в присущей ему специфической форме и только тогда, когда его культура созреет для этого. Форма вопроса часто предопределяет ответ, который для данной культуры может быть неорганичен.

³ Один из любопытных видов этого развития состоит в разоблачении русской исторической мифологии, которая, как все в СССР, имеет наукообразный характер. Когда обнаруживается недостоверность большей части исторических «фактов», составляющих национальные святыни, многие не удерживаются от антисемитского негодования по адресу разоблачителей. Но ведь мифы и не должны претендовать на достоверность!

О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ

(Впервые опубликовано в сборнике «Евреи в СССР». № 2. Москва, декабрь 1972)

«Увы! Шум народов многих! Шумят они, как шумит море. Рев племен!...

Ревут народы, как ревут сильные воды...» (Исайя, 17, 12). Как различить в этом многоголосом реве родной звук? Есть ли он, этот единственный пароль, отзыв на который, хотя бы неосознанно, хранится в нашей душе? Те ли мы, за кого нас принимают? Те ли, за кого себя выдаем?

Положение евреев в России как меньшинства, вкрапленного в «большую систему», представляет характер самоизучения, как перевод наших особенностей на язык этой системы.

«Большой системой» я здесь называю не столько государственную или национальную идеологию, сколько эмпирическую реальность русской культуры, на языке которой мы говорим. В то время, как язык этой культуры большинству из нас понятен, наши собственные особенности до тех пор, пока они не выражены на этом языке, осознаются нами очень смутно или не осознаются вообще.

Такое положение, вообще говоря, не есть функция диаспоры, а сопровождает всякое сосуществование народов и культур. Национальное сознание часто оттачивается на сравнениях. Мы, собственно, всегда понимаем себя в отличиях. Россия осознала себя только в европейском контексте и по-настоящему лишь после того, как Чаадаев, Хомяков и другие перевели язык русских чувствований на европейский философский язык.

Хотим мы этого или не хотим, мы живем в мире, который в очень сильной мере определяется европейской литературой, европейской философией и европейской религией, то есть христианством. Поэтому субъектом нашего исследования почти всегда невольно оказывается европеец и набор его представлений.

С этой точки зрения исключительный интерес для нас представляет одна из ранних работ Мартина Бубера, посвященная особенностям еврейского национального характера, как он их видел. Эта работа была написана в начале века в немецкой среде, в которую немецкие евреи исключительно глубоко проникли и, подобно советским евреям, на протяжении, по крайней мере, двух поколений ощущал, культурно «своей».

Чтобы пойти дальше, мне придется обильно процитировать Бубера, поскольку он у нас не так хорошо известен, чтобы я мог просто на него сослаться:

«Еврейство как духовный процесс выражается в истории, как стремление ко все более совершенной реализации трех взаимно связанных идей: **идеи цельности, действия и идеи будущего**. Каждый народ имеет присущие ему тенденции и созданный им мир собственных творений и ценностей, так что этот народ живет дважды: один раз мимолетно и относительно в чреде земных дней, в нарождающихся и уходящих поколениях, а второй раз — в то же самое время — постоянно и абсолютно в мире странствующего и ищущего человеческого духа. Относительная жизнь остается достоянием только народного, абсолютная же, непосредственно или опосредствованно, входит в сознание человечества...

Идея и стремление к цельности в национальном характере основываются на том, что еврей более способен усматривать связь между явлениями, чем отдельные явления. Он видит лес более подлинным, чем деревья, море более подлинным, чем волны, общину более подлинной, чем людей. Поэтому у него больше настроения, чем образов и поэтому он часто склонен создавать понятия о полноте явлений которые им еще полностью не пережиты.

Впервые, в завершеном виде, у пророков возникает идея трансцендентального единства: творящего мир, царящего над миром, любящего мир Бога...

Вторая идея еврейства — это действие. Она тоже коренится в на родном характере. В том, что еврей более предрасположен к подвижности, чем к восприимчивости: его двигательная сила работает более интенсивно, чем его познавательный аппарат. В действии он обладает большей субстанциональностью и более индивидуален, чем в восприятии. Для его жизни важнее то, что он осуществляет, чем то что ему противостоит. Поэтому, например, все искусство евреев так своеобразно по форме. Поэтому они сильнее в выражении, чем в содержании, и поэтому им, как людям, действие важнее, чем переживание.

Уже в древности в центре еврейского религиозного сознания была не вера, а дело. Во всех книгах Библии о вере говорится весьма мало, но много — о делах... Впоследствии из религиозного сознания возник обрядовый закон.

Против окостенения закона восстало стремление к действию. Главной задачей раннего христианства было действие...

Первоначальный хасидизм, который имеет столь же мало общего с современным, что и раннее христианство с церковью, также можно понять только, если убедиться, что он является возрождением идеи действия...

Третья тенденция еврейства — идея будущего. Она основывается на том, что чувство времени у евреев развито намного сильнее, чем чувство пространства: красочные эпитеты Библии говорят, в противоположность, например, гомеровским, — не о форме и цвете, а о звуке и движении. Наиболее присущей евреям формой художественного выражения является специфически временное искусство — музыка, и связь поколений для нас более важный жизненный принцип, чем вкус к современности.

Еврейское национальное сознание и Богопознание питаются исторической памятью и исторической надеждой, которая и является, собственно, созидательным элементом.

Мессианизм до самой глубины своей — самобытная идея еврейства. В будущем, в изначально вечно близкой и вечно далекой сфере, текучей и неподвижной, как горизонт; в царстве будущего, в которое дерзают проникнуть лишь прихотливые, шаткие и непостоянные мечты, еврей задумал построить дом для человечества, дом для истинной жизни. Здесь впервые со всей силой абсолютное было провозглашено целью человечества, реализуемой с его помощью.

Истинная жизнь еврейства, как истинная жизнь любого творческого народа, есть то, что я назвал абсолютным. В настоящее время еврейский народ знает только относительную жизнь. Он должен воспрянуть в самой своей глубине, где зародились некогда великие тенденции еврейства, и где из горнила вышли на мировое поприще три гиганта: Ягве — Бог единства, Мессия — выразитель будущего и Израиль — человек, борющийся за свое дело, не жалея сил... Только тогда, когда еврейство расправится как рука, и возьмет каждого еврея за волосы, и подхватит его, как буря в Иерусалиме между небом и землей, как некогда рука Господня...»

Нужно сказать, что рука Господня действительно схватила и понесла европейского еврея через двадцать или тридцать лет после того, как были сказаны эти слова, с такой неземной силой, что мощь этого броска до сих пор отзывается в сердцах и сказывается на международной политике.

Но мы, евреи СССР, зададим себе вопросы, соответствующие поставленной здесь задаче: верно ли все это в отношении нас? Не упущено ли что-нибудь существенное?

На оба эти вопроса одновременно хочется ответить положительно.

С одной стороны, все это верно. Все три тенденции ярко проявились в характере русских евреев во время революции. Я имею в виду невероятно активное, полное героических и злодейских подвигов поведение евреев во всех трех русских революциях, их громадную роль в Гражданской войне в России и выдающееся участие в послевоенном строительстве.

Их цельность в сочетании с деятельной активностью толкнули их на простор общероссийской (а многих и интернациональной, всемирной) деятельности прежде, чем они успели осознать смысл и характер своей роли. По-видимому, чисто еврейская среда того времени не могла дать им такого ощущения полноты действия, абсолютности его, слитности убеждения и поступка, и даже, казалось, будущее требовало этого отказа от национальной ограниченности.

Впоследствии, в относительно мирное время, те же тенденции приковывали внимание евреев к научному монизму, заставляли их неистово строить, выдумывать, изобретать и, жертвуя собственным благополучием, давать во что бы то ни стало образование своим детям, навязывая окружающим свой идеал справедливости, «правильной жизни» и пренебрежения настоящим ради будущего.

Теперь, составляя значительный слой советской интеллигенции, евреи внесли свое чувство цельности в советские научные школы, своей неформальной деловитостью смертельно надоели администраторам, языковой изощренностью повергли в уныние любителей русского языка и наполнили открытую печать, закрытую отчетность и иностранное радио мрачными социологическими и экономическими прогнозами, отчаянными политическими призывами и другими формами заклинания будущего.

Но есть и другая сторона. Я чувствую, что в характеристике Бубера недостает какого-то очень существенного элемента, достоверного признака, который бы заставил меня воспринять ее как характерологическую реальность, а не просто как романтическую апологию.

Действительно, все три элемента — цельность, деятельность и ориентация на будущее — предопределили участие русских евреев в революции под социалистическими лозунгами. Но те же три элемента мы находим и в таком совершенно внутриеврейском движении, как хасидизм. Это различие проявлений объяснить нелегко. Прямым влиянием окружающей среды оно не исчерпывается, так как остались же, в свое время, евреи совершенно глухи к европейской Реформации, несмотря даже на прямые попытки реформатов к сближению.

Может быть, мы лучше поймем это различие, если заметим, что та «духовная революция», о которой говорит Бубер, имея в виду христианство, сопровождалась длительной социальной революцией, высшая точка которой зафиксирована в истории под названием Иудейской войны, о которой он не упоминает. Между тем, только рассматривая еврейскую историю I в.н.э. как целое, можно понять, краской какого спектра явилось христианство.

Может быть, чувство неполноты характеристики, данной Бубером, возникает от его повышенной духовности, заставляющей относить к так называемой «относительной жизни» народа всякую реализацию его устремлений. Но только эта реализация и обнажает народные стремления во всей их природной силе без эстетических прикрас и ограниченности временем и местом. Только рассмотрение исторической реальности во всем объеме может дать представление об источнике, порождающем полярные феномены и противоборствующие течения. Нельзя понять ранних христиан или ессеев, если не говорить о современных им фарисеях и зилотах, и нельзя понять ни тех, ни других, если не выделить тот круг вопросов, при разрешении которых они разделились. Подобным же образом я буду исходить из того, что и в наше время источник, порождающий участие русских евреев в революции (безудержно социологическую трактовку ими мессианских идеалов) и, скажем, такое далекое от социальной действительности движение, как хасидизм, один и тот же и, возможно, тот же самый, что и в I в.н.э. Тогда и сионизм, и интернационализм, и социальный радикализм и мистика, и М. Бубер и даже Л. Шестов также могут оказаться цветами одного спектра.

Рассматривая христианство только в его противостоянии «окостенению закона» и только в его национально-еврейском контексте, мы не сможем увидеть истоков его будущей распространенности и объяснить явление «апостола язычников» Павла. «Окостенению закона» по-своему противостояли и фарисеи, представлявшие патристическое крыло иудаизма и при этом враждебные христианству. Возможно, еще в большей степени этому окостенению противостояли зилоты, которые во время Иудейской войны зашли в этом противостоянии так далеко, что силой захватили Храм и вынудили к бегству из Иерусалима законоучителя Иоханана Бен Заккаи и многих других. Если бы римляне не разрушили Храм, еще неизвестно, что бы с Храмом сделали зилоты. Эти древние радикалы не останавливались ни перед чем, и их по справедливости нужно поставить перед левеллерами и якобинцами в ряду революционных учителей человечества. В гораздо большей мере, чем окостенению закона, христианство I в. противостояло ограниченному узкому патриотизму фарисеев и социальному реформаторству зилотов. Притчи Евангелий («добрый самаритянин», «динарий кесаря» и т.п.) настойчиво уводят от традиционной узкой постановки вопроса, и формула «царство Мое не от мира сего» прямо направлена против всякого иудейского реализма и закономерно рождает в сознании противопоставление веры делам.

Проследим коротко историю зилотов, поскольку это течение, определяющим образом повлиявшее на историю еврейского народа в явившееся проявлением его страстей, которые, по моему мнению, определили и нашу судьбу, менее всех других у нас известно.

В начале I в. Иегуда Галилеянин из Гамалы выступил с учением, которое вскоре привело его к восстанию и смерти на плахе. Согласно этому учению признать над собою какого-нибудь господина, помимо Всевышнего, значит для иудея отчасти умалить свое почитание Господа и, таким образом, нарушить Завет. Поэтому абсолютная свобода есть неперемное условие благочестия. Нет земных царей для того, кто знает Царя Небесного. Но Бог помогает лишь тому, кто помогает себе сам. К этому времени рабби Гиллель уже произнес свои знаменитые слова: «Если не ты, то кто?» и «Если не сейчас, то когда?» Поэтому каждый немедленно должен был сделать выбор между рабством и свободой и этому выбору подчинить всю свою жизнь.

Таким образом, первый теоретик и практик анархизма родился в Палестине и производил свою идеологию от интерпретации библейского источника. Его последователей называли ревнителями (зилотами) и, наряду с садуккеями, фарисеями и ессеями, считали «четвертой школой». Два сына этого человека были впоследствии распяты римлянами на кресте еще за двадцать лет до начала Иудейской войны, третий его сын был одним из предводителей зилотов, захвативших Иерусалим в 66 г., а внук Элеазар бен-Яир возглавлял гарнизон знаменитой Массады и, может быть, впервые в истории провозгласил альтернативный лозунг: «Свобода или смерть!»...

Так же как и о революции в России нельзя думать, что ее значение сводилось к борьбе с германской оккупацией на том основании, что она возникла во время Русско-германской войны, так и о Иудейской войне нельзя судить, забывая, что это была война гражданская. Уже в 66 году, сразу после начала восстания, зилоты сожгли все, хранившиеся в Храме, долговые обязательства и убили корыстолюбивого первосвященника Ананию, а, спустя короткое время, вождь умеренной партии Элеазар расправился с ними и казнил одного из их вождей, Менахема. Однако в 68 году зилоты снова победили, освободили всех рабов в Иерусалиме, стали ставить первосвященников по жребию и выполняли обрядовые предписания по своему разумению (в I веке нашей эры это, наверное, не намного отличалось от разрушения церкви и антирелигиозной борьбы).

Если ортодоксальное иудейство и раннее христианство (в разной степени и, конечно, в разных направлениях) от чего-то отталкивались, то не столько друг от друга, сколько от материалистического воплощения Закона, от социологической вульгаризации идеи Царства Божьего, от хирургической попытки воплотить бесконечное в конечном, веления Духа — в правилах общежития.

Сами эти попытки есть, очевидно, органический результат цельности и действенности природы, которая не может примириться с частичной реализацией абсолютного в относительной жизни человека и, будучи не в силах реализовать абсолют, склонна абсолютизировать относительную реализацию. Это, конечно, полностью относится и к жизни, и идеологии ессеев, которые в своем монастырском рвении существенно упростили Учение.

Если мы будем постоянно держать в памяти эти определяющие черты национального облика, неоднократно воспроизводящиеся в истории евреев, нам не покажутся странными их обычный политический радикализм, современная распространенность среди них марксизма и антирелигиозных предубеждений. Попробуем найти им законное место в более общей схеме.

Если можно определить одним словом, что представляется недостоверным в описании народного характера, данном Бубером, то это слово будет — **совместимость**. Три тенденции, отмеченные в вышеприведенной цитате, вполне совместимы. Они не противоречат одна другой и могут с успехом сочетаться в одной личности и внутри любого из анализированных исторических течений, не создавая напряжения и внутренней основы для трагедии.

Истинные реальности всегда парадоксальны. Как всякая природа, дух народный состоит из элементов взаимоисключающих, и только эта **несовместимость** сообщает объекту содержательность, приковывающую внимание; превращает историю в загадку, разгадка которой для каждого поколения своя.

Вернемся опять к цитате. Итак, из еврейства «вышли на мировое поприще три гиганта: Ягве — Бог единства, Мессия — выразитель будущего и Израиль — человек, борющийся за свое дело, не

жалея сил». Почему человеком, борющимся за свое дело, не жалея сил, здесь назван Израиль? Разве Библия не полна такого рода людьми? Разве Моисей, Иисус Навин, Гидеон, Давид не боролись за свое дело или жалели силы? — Нет, просто Израиль — это самоназвание еврейского народа, и Бубер должен был его упомянуть. Это имя дано было Богом нашему родоначальнику Иакову в начале времен.

Но почему мы тогда не иаковиты? И с кем, собственно, боролся Иаков, не жалея сил? — Вот тут мы приближаемся к настоящей тайне.

Израиль означает — Борющийся с Богом. Это имя Бог дал Иакову после того, как тот не уступил Ему в борьбе, «длившейся всю ночь». Только после этого Бог продемонстрировал Иакову свое всемогущество и возобновил с ним Завет, заключенный впервые еще с Авраамом.

По какой странной прихоти назовет народ себя Богоборцем?

В книге Исхода евреи много раз называются также народом жестоковыйным, то есть непокорным, упрямым, и из контекста видно, что гордиться здесь нечем. Скорее они всегда ощущали это свое качество, как тяжкий крест (если здесь можно использовать христианскую терминологию), свою буйную природу — как порок.

«... если бы Я послал тебя к ним (другим народам), то они послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать..., потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем... ибо они мятежный дом». (Иез. 3,6,7,9.)

Избранничество этого народа возникает в Библии не столько как результат покорности Божьей воле, сколько направленной интенции к абсолютному. Завет с Богом — акт двусторонний, предполагающий субстанциональность и правоспособность обеих сторон. Кто-то еще в самом начале истории понял, что Завет Израиля неразрывно связан с его богоборчеством; что только тот может заключить союз, кто способен бороться и противостоять. Поэтому богоизбранность евреев всегда предстает в Библии, как бремя, которое они на себя взвалили сами.

Так Закон всегда предстает нам как презумпция свободы воли.

Если мы с этой точки зрения взглянем на Библию и историю евреев, мы увидим, что каждое действие и каждая мысль там были связаны с идеей свободы воли и самостоятельного выбора между добром и злом.

От грехопадения Адама, которого он перед Богом стыдился (следовательно, сознавал, что сам выбрал грех вместо неведения), через преступление Каина, который нагло пытался отпереться (сознавая, следовательно, преступность своей выходки), к Завету Авраама, готового отдать Богу любимого сына, красной нитью проходит мысль, что человек сам выбирает свою судьбу, что наша свобода есть наша ответственность, и природой мы не осуждены на покорность высшей воле, но можем принести ее в дар, и этот дар для нас нелегок.

История Иакова полна эпизодов, когда он борется с Предначертанным, будь это первородство Исава или обручение с Лией. Так же упорно борется с роком Фамарь за право произвести великое потомство, и столь же неукротим Иосиф.

В ситуации исхода из Египта евреям множество раз предоставляется возможность принять божественные предначертания или смалодушничать, уверовать либо струсить. В Мидраше по этому поводу приводится притча, которая показывает, что сознание добровольно сделанного выбора, представление о свободе воли человека даже перед лицом Бога, не оставило евреев и в средние века:

«Когда у Предвечного возникла мысль даровать людям Завет Свой, Он предложил Тору сначала потомкам Исава.

— А что написано там? — спросили потомки Исава.

— Не убивай.

— Нет. Вся жизнь людей рода нашего основана на убийстве. Мы не можем принять Твою Тору.

Предлагал Господь Тору потомкам Измаила.

— А о чем заповедано в ней? — спросили потомки Измаила.

— Не кради.

— Только кражею и грабежом мы и существуем. Нет, мы не можем принять Завет Твой.

Обратился Господь к Израилю.

— Будем исполнять и слушать! — был их ответ».

Таким образом, идея **свободы воли**, проявляющейся как **обязанность** самому отличать добро от зла и предполагающей вменяемость перед высшей инстанцией, всегда была присуща евреям. В этом смысле уклонение от правильного действия тоже оказывается грехом и, возможно, идея действий является развитием этой внутренней необходимости реализовать свой выбор наиболее эффективным образом. В религиозном плане такая потребность порождает примат дела перед верой, а в светском приводит к принципу: «Бог помогает только тому, кто помогает себе сам»,

Идея свободы воли и Завета с Богом, так же как и другие тенденции происходящие от народных инстинктов и имеющие свою темную сторону, тесно связана с «жестоковьюностью» и «мятежностью» евреев. Возможно, и сейчас общеизвестное еврейское упрямство, гордыня и склонность к самоутверждению остаются признаками той же душевной структуры, которая породила идею свободы и личной ответственности.

Насколько, на самом деле, эта идея нетривиальна, видно из того, что вся античность построена на противоположной идее судьбы и предопределения. Нечто от этого эллинского взгляда проникло в христианство, не говоря уже об эссеях, которые эту идею полностью приняли.

От библейских и до нынешних времен иудеи не любили и всячески охаивали разного рода гадателей и предсказателей судьбы, ощущая в них моральных антиподов. Пророков можно скорее понять как полярную противоположность гадателей, чем как их коллег. В то время как пророк провозглашает некую моральную необходимость, с которой люди **не обязаны, но должны** считаться, преступление которой возможно, но губительно, гадатель предсказывает необходимость фактическую, так что человеческая судьба разворачивается независимо от его воли, как явление природы. То есть пророк предупреждает (и, значит признает, что спасение в руках человека), а гадатель предсказывает (следовательно, сообщает ему приговор, вынесенный без его участия и обжалованию не подлежащий). Так же и мессианская идея абсолютного будущего скорее противоположна предопределенным античным циклам, чем похожа на них.

Почему такой глубокий писатель, как Бубер, мог упустить столь существенную особенность еврейства, как одержимость идеей свободы воли?

Бесчисленными проявлениями этого комплекса переполнены исторические явления, анализировавшие им, и поэтому нельзя предположить, что он не видел этого элемента в еврейской жизни. Одним из основных моментов, по отношению к которым, еще до новой эры, расходились школы садуккеев, ессеев и фарисеев, была свобода воли. Садуккеи предполагали неограниченную свободу воли, даже по отношению к Богу, подобно тому как сказано у Иеремии: «Я положил песок границей моря, вечным пределом, которого не перейдет; и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего (Израиль и Иудея) сердце буйное, мятежное: они отступили и пошли...» Напротив, ессеи вовсе отрицали свободу воли человека, полагая все помыслы его и поступки предопределенными от начала времен (см. «Кумранские рукописи», АН СССР, 1971. Напр.: «Еще до рождения их, Я знал все их деяния».) Фарисеи высказывали по этому вопросу взгляды, близкие к христианству и равноудаленные от вышеупомянутых крайностей.

Бубер, конечно, не мог не знать или не помнить этого. В своей книге о хасидизме он достаточно много говорит об идее свободы, о чувстве индивидуальной призванности, присущих этому учению, но не отмечает их специфически еврейского характера и происхождения.

Я думаю, что идея свободы и добровольной избранности казалась Буберу не специфически еврейской, и даже ее несомненное библейское происхождение не наводило его на эту мысль не случайно. Воспитанный в европейском мире, построенном на Библии и свободе воли, он должен был ощущать эту идею в основе взглядов всей своей среды. Эта идея вошла в христианство и, во всяком случае, в протестантском варианте так же присуща сейчас европейцу, как и традиционному еврею.

Европеец, привыкший к Библии с пеленок, не может ощущать своего отличия от еврея в коренном вопросе Ветхого Завета.

Субъект исследования оказался в данном случае неотличим от объекта и, по закону Архимеда, выталкивающая сила в точности уравновесила силу тяжести.

Аналогичный казус проявился в анализе еврейского народного характера, произведенном русским христианским философом В. Соловьевым в конце XIX века. Содержание анализа Соловьева не только остается актуальным и сейчас, но, как мне кажется, обнаруживает глубину проникновения, которая недостижима для многих русских евреев-интеллигентов по сию пору. Значительную роль в этом проникновении играет четкость осознания субъекта исследования и его взаимоотношений с объектом. Действительно, будучи представителем русской культуры по духу и крови, В. Соловьев, несмотря на глубокую симпатию к евреям, ощущал их как противостоящий его мысленному взору объект и не мог миновать тех коренных особенностей этого противостояния, которые определяют его драматизм: ощущения глубинного сходства, совмещающегося с психологическим и даже как бы физиологическим различием. Благодаря этому его характеристика еврейского народного типа выглядит более полной, чем у М. Бубера. Наряду со **свободой воли**, он включает также повышенный **реализм** евреев, который, конечно, вместе с этой свободой обладает приоритетом перед принципом действия, вводимым, как характеристика народа, Бубером. Зато в отличие от М. Бубера, Соловьев вообще не упоминает о еврейском мессианизме и эсхатологическом сознании, подчиненном идее абсолютного Будущего. Это упущение очень характерно.

В. Соловьев принадлежит к той ветви русской культуры, которая мессианизм положила в основу своего существования и, впоследствии, под пером Н. Бердяева превратила эсхатологическую идею в основную черту русского сознания. В какой мере это действительно верно, мы здесь обсуждать не станем, но несомненно, что значительный интеллигентский круг в России думал и чувствовал именно так и потому еврейского приоритета и даже отличия в этом не видел.

Настаивая на том, что свобода воли есть один из основных исторических элементов еврейской жизни, присутствующих в ней и сейчас, я, чтобы не быть неправильно понятым, должен подчеркнуть, что это вовсе не значит, что евреи всегда и всюду стремятся к свободе. Наоборот, большинство из них только и смотрят, куда им свою внутреннюю свободу девать и как бы превратить ее во внешнюю связанность. Но суть дела в том, что, независимо от того, хотят ли они ее реализовать или стремятся от нее избавиться, эта свобода выбора ими осознается и соседствует с понятием совести.

Сознание проданного первородства и вкус чечевичной похлебki на губах, вопреки любому ультрасовременному мировоззрению, остается даже у самых бессовестных, самых бесстыжих. Когда еврей пасует перед трудностями, он всем надоедает своими рассказами о том, что у него не было выхода. Конечно, иначе бы он не уступил! Когда еврей сделает вам подлость, он еще дополнительно

будет мучить вас объяснениями, что он поступил единственно правильным образом, что по-иному поступить было нельзя. Конечно, иначе он так и поступил бы! Он не отпустит душу на покаяние, пока не добьется от вас согласия, что он прав.

Это происходит именно потому, что в глубине души он знает неприятный для себя выход, знает, что он неправ, и ищет оправдания перед невидимым судом.

Он поступает, как согрешивший Адам, спрятавшийся среди деревьев, когда Бог спросил: «Адам, где ты?» Он поступает, как Каин, который на вопрос Бога об Авеле отвечает с полемическим задором: «Разве сторож я брату моему?». Он поступает как человек, знающий добро и зло, свободный принимать решения и ответственный за них перед судом совести.

Человек, действительно покорный судьбе,веряющийся необходимости, не рефлектирует по этому поводу. У того, кто не ощущает свободы и ответственности, совесть спокойна. Угрызения совести посещают лишь того, кто знает выбор и может себе позволить этим выбором злоупотребить.

Хотя, разумеется, выбор между добром и злом (как идея) хорошо известен русскому человеку, и имеется множество черт сходства русского характера с еврейским (определяющих неотразимую привлекательность для евреев русской культуры), все же изо всех европейских народов, по-видимому, русский в наибольшей степени усвоил эллинскую идею судьбы, которая в реальной обстановке предстает как идея Необходимости («Надо, Федя!»).

Под разными личинами религиозной, национальной, государственной и общественной необходимости нечто, не зависящее от воли отдельного человека, управляло русской историей в течение веков и создавало невыгодную альтернативу свободе, пока, наконец, не была открыто принята формула: свобода есть осознанная необходимость. Эта формула с ударением на последнем слове правильно выразила то, что русский народ создавал. Не всегда охотно, но от души искренне.

Иное дело — евреи. Произнося эту формулу, каждый из них знает, что смысл, который он вкладывает в эти слова, отличается от общепринятого ударением на предпоследнем слове. Он знает, что, несмотря ни на какие слова, ему самому придется в ответственную минуту решать, как поступить. И потом всю жизнь нести за этот поступок всю полноту ответственности.

Быть может, в пределах западной цивилизации, которая выросла на индивидуализме и представлении о свободе воли, это незаметно, но в русском окружении бросается в глаза повышенное чувство «Я» евреев, проявляющееся и в крайних формах эгоцентризма, и в гипертрофированных формах всеответственности. Грубо говоря, евреям «до всего есть дело» и «им больше всех надо». Так как этот инстинкт действует в сочетании с противоречащим ему инстинктом единства, цельности, требующим общения и отождествления с другими людьми, еврей в реализации своих стремлений мечется между индивидуалистическими и коллективистскими доктринами, оставаясь общественником среди индивидуалистов и индивидуалистом в коллективе. И вот бесчисленное количество русских евреев, исповедующих, что свобода есть осознанная необходимость, переполняет все коммунистические оппозиции от 1918 до самого 1948 года, когда, наконец, это надоело Сталину, и он их всех как народ поставил под подозрение.

Едва миновали страшные годы, как реабилитированные евреи опять со всех ног кинулись улучшать, протестовать и выступать с предложениями, так что даже возникло ощущение широкого демократического движения в России.

Конечно, объяснение всего этого состоит не только в том, что евреи слишком деятельны, а скорее в том, что их чувство свободы-ответственности принуждает их действовать даже тогда, когда действие практически бессмысленно.

В большинстве случаев такие действия и не направлены на практические цели, а служат удовлетворению какого-то внутреннего чувства, верность которому важнее безопасности.

Можно было бы, в определенном смысле, сказать, что отказавшись от обрядности и традиций, русские евреи сохранили, тем не менее, религиозное сознание, в котором дело по-прежнему выше веры. Тем более, когда веры — теоретически нет. Поступок в этом комплексе идей важнее мотива. Высказывание ценнее мнения.

Вернемся теперь, на новом уровне, к элементам народного характера: идея единства-цельности, идея **свободы-ответственности**, приводящая к идее **действия**, и идея **времени**, устанавливающая примат **будущего** перед прошедшим.

Теперь мы имеем единство, взрывчатая парадоксальность которого создает ощущение жизнеподобия. Действительно, одновременное реалистическое восприятие всех этих трех или четырех элементов так же невозможно, как и всякое рациональное восприятие полноты жизни; и так же возникает у рационального сознания потребность соподчинить элементы для облегчения схематизации и упростить то, что живет только сложностью и в сложном.

Разве может цельность мира, единство Бога удовлетворительным для сознания образом совмещаться с потусторонней суверенной волей — человеческой? Да еще не одного, а множества? Разве совмещается в сознании эта свобода воли с верой в известное будущее, с царством Мессии?

А разве необходимо совмещать все эти противоречивые тенденции в рациональном сознании? Может быть, сама эта потребность и соответствующая ей гипертрофия сознания у евреев вызываются тем же психологическим механизмом, который предопределяет и идею свободы воли? Когда человек предоставлен самому себе в выборе добра и зла, он должен напрягать все свои силы, чтобы не ошибиться и не дать увлечь себя на ложный путь. Может быть, талмудисты сознавали, что рациональные построения надежней страхуют от ошибок, чем неосознанные влечения? Но, может быть, и наоборот — в еврействе имеется неосознанное влечение, вопреки темпераменту, положиться

на сознательный элемент, связывающий страсти, неудержимо овладевающие буйной душой («Стройте ограду вокруг Закона!»). Но страсти, конечно, могут принимать и обличив рационально выстроенных систем, а страсть к схематизации — одна из самых захватывающих среди искушений еврейства.

И вот возникает то, что можно было бы в истории назвать «частными реализациями» библейских идеалов. Столь любимые Бубером эссеи осуществили свою попытку «жизни в абсолютном» за счет фактического и теоретического отказа от свободы воли и раздвоения целостного мира. Они облегчили реализацию неисполнимой в конечные времена программы за счет приспособления самой программы к земным условиям. Не удивительно, что это не вызвало восторга ортодоксального иудейства, для которого целостность мира важнее любой реализации.

Христианство возвращается к некоторой свободе воли за счет усложнения (чтобы не сказать — снижения) единства Бога. Появление Бога-Сына должно было очень болезненно отозваться на еврейском чувстве цельности, что бы ни говорил Бубер о близости этих учений. Но зато идея Завета с Богом в христианстве существенно выигрывает, приобретая трогательный личный оттенок, возвращающий верующего к самым начальным представлениям Книги Бытия. Также и перенос Царства Божия из реального мира в духовный защитил учение от воплощения в конечных формах и, таким образом, оградил его от вульгаризаторов всех направлений. Возможно, что и апостол Павел, открыто противопоставивший веру делам, был вынужден к этому необходимостью еще больше смягчить парадоксальность учения, которое в руках реалистов быстро превращалось в сектантство эссеистского толка. Сама эта необходимость — противопоставлять веру делам — рождается из той же потребности осуществить свой выбор в реальном мире, который настоящего выбора человеку не дает. Принуждаемый, вопреки своему чувству свободы, к жизни без выбора между добром и злом, человек само это безличное принуждение и весь связанный с ним реальный мир ощущает как зло. И вот, вместо выбора между добром и злом, возникает выбор между верой и делом.

Зилоты, опираясь на единство Бога и свободу воли, как отправные моменты, принимали мессианизм и самое будущее, как непосредственную функцию своей волевой деятельности и социальных преобразований в духе уравнительности. Возможно, близким упрощением общей концепции вдохновлялись и повстанцы Бар-Кохбы.

Можно только поражаться стойкости ортодоксов, донесших идеи еврейства во всей их полноте до наших дней, вопреки столь мощному напору равно героических вульгаризаторов: детерминистов-эссеистов и волюнтаристов-ревнителей. Если к этому еще добавить эллинизацию и христианство, которые с идейной точки зрения совсем не являются вульгаризациями, то само сохранение еврейства, как религии, кажется чудом.

Нам, наблюдавшим и пережившим, казалось, полное исчезновение и растворение еврейства и, затем, его неожиданное возрождение, это чудо представляется следствием того, что идеи, заложенные в еврействе, как идеологии, суть характерологические особенности еврейства, как народа, или точнее, как типа личности.

Эти идеи и особенности сохраняются не только вследствие целенаправленных усилий мудрецов и законоучителей, но, еще в большей степени, вследствие биологической и культурной жизни людей с такими особенностями (независимо от происхождения), передающимися от отцов к их детям.

На современном языке это означает, что библейская идеология экзистенциально близка определенному типу человека, часто реализующемуся в еврейском народе (хотя отнюдь не только в нем...).

XIX и XX века дали людям много новых возможностей для упрощения и вульгаризации первоначального библейского единства, но отнюдь не угасили страсти, из которых это первоначальное единство складывалось. И немало не смягчили их безысходной несовместимости. Напротив, повысив роль сознания в жизни человека, наше время еще туже завязало узел.

Научный монизм, эволюционизм, удовлетворяя чувству цельности и однонаправленности времени, одновременно жертвует свободой настолько радикально, что его не устраивает и Бог, как альтернатива детерминизму. Гнет научного детерминизма был так велик, что весь мир с восторгом ухватился за квантовую механику, как будто индетерминистский принцип родился в ней изнутри, а не был внесен человеческим же попечением. Эйнштейн потому и не мог примириться с квантовой механикой, что, сосредоточившись на идее цельности, не мог допустить случайности событий в микромире, нарушавшей его представление о гармонии.

Точно так же закономерно фанатик индетерминизма Лев Шестов вынужден был отказаться от науки и всякой надежды на благотворность действия вообще, разделить мир на видимый и потусторонний, жертвуя цельностью, чтобы утвердить безграничную свободу души и веру в будущее, как в чудо.

Экзистенциалист Бубер создает концепцию «Я — Ты», направленную на совмещение свободы с единством и смягчающую волюнтаристские установки экзистенциальной философии, а З. Фрейд строит фантастическую цельную систему идей, детерминистски определяющую и религию, и науку, и всякую деятельность вообще как прямую функцию физиологического фактора — подсознания.

Я не собираюсь называть все эти феномены проявлениями чисто еврейского духа, но, несомненно, что все они коренятся в библейской идеологии.

Революция и Гражданская война в России дали возможность всем этим страстям выплеснуться в действительность в необычайно действенной, напоминающей эпизоды Иудейской войны, форме. Снова возникли широкие возможности для творческих вульгаризаций и еврейского социального

экспериментаторства. Но теперь эти жуткие и грандиозные эксперименты проводились на расширенной основе вместе с русскими революционерами и контрреволюционерами.

Экономический детерминизм, анархизм, коммунизм, с одной стороны, и толстовство, веховство, богоскательство, с другой, рожденные и реализованные русской интеллигенцией, захватили массы евреев, как решение их собственных внутренних вопросов. Такими они, на самом деле, и были, но на другом материале и уровне. Содержание вопроса зависит от того, кто его задает.

Понадобилось полвека, чтобы понять, что никто не решит наших проблем за нас; что решение, которое устраивает другого, может не быть решением для тебя, и что сходство людей не отменяет различия между ними.

Так вот для чего понадобилось нам прожить жизнь в России! Вот зачем нужно нам было подвергаться стольким превращениям и, в конце концов, остаться самими собой! Осознанием своей неразстворимости, своего коренного неустранимого свойства мы обязаны особенностям русского национального характера, которые так отличают его от типа европейца. Нужно было сначала, с младенчества привыкнуть к тому особому типу сознания, которое свободу отождествляет со своеволием, чтобы, наконец, понять себя, как человека, для которого свобода есть главное условие жизни.

ИУДЕЙСТВО И ЭЛЛИНСТВО В НАУКЕ

Самиздатский сборник «Евреи в СССР». № 5. октябрь. 1973 г.: Москва (перепечатано в сб. «Еврейский самиздат», т. 7. Иерусалим. 1975).

«Мир построен... из двух времен, наличного и отсутствующего... История культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции...»

Б. Пастернак, «Охранная грамота»

Встречающийся в литературе тезис о глубокой связи теоретического мышления с теологическими схемами кажется мне совершенно убедительным.

Действительно, в богословских построениях речь идет обычно о воззрениях на **явление** и **сущность**, **возможное** и **невозможное**, **законы** природы и **чудо** (флуктуация, например), **единство** мира и **множественность**, то есть все те вопросы, представления о которых неизбежно включены в исходные посылки физика и математика и зачастую предопределяют его будущие теории. Несомненно, что варианты мыслимого возможного определяются еще здесь, и часто встречающееся среди ученых повышенное самоуважение, связанное с существованием якобы у нас, по сравнению с профанами, дополнительных возможностей для интуиции по меньшей мере недостаточно обосновано. Единственно в чем мы преуспели, это в однозначности понимания наших конструкций, и здесь, действительно, как бы мало ни было достигнуто, все полностью оказывается общим достоянием и, таким образом, выгодно отличается от религиозно-философских систем, записанных гуманитарным языком.

Эта однозначность в значительной мере достигнута за счет особого способа рассмотрения объекта исследования вне контекста, в котором он обычно встречается, то есть за счет изъятия объекта, превращающего его из эмпирической реальности в мысленный (математический) образ. Законы взаимоотношений этих образов обычно отождествляются нами с законами нашего сознания, то есть с законами логики, что по отношению к собственно мысленным объектам вполне естественно (но по отношению к эмпирическим реальным объектам совершенно не обосновано). Основы такой практики были заложены античными философами-греками, которые вслед за Гомером (и, по-видимому, под влиянием особого мировосприятия гомеровских поэм) проявили удивительную, совершенно оригинальную способность видеть мир разделенным на предметы, а предметы — расчлененными на качества. Нетривиальность этого видения трудно оценить по достоинству теперь, когда воспитание в нашей цивилизации в значительной мере нас к этому приучило.

Эта особенность европейской культуры, по крайней мере на раннем этапе, совершенно не связана с евреями и даже сейчас остается в каком-то смысле им враждебной.

Внимательное чтение Библии показывает, что такое членение **видимого** еврейскому сознанию почти не было свойственно.

Теоретическое мышление произошло, конечно, не от тех, кто способен был увидеть связи (religio) в мире вещей и взаимопроникновение в мире понятий, а от тех, кто был способен потрошить, анатомировать мир, чтобы узнать, что у него внутри, и исследовать текучие понятия как неизменные вещи. Гениальные греки придумали длину без ширины, пространство без времени, атомы без качеств (а индусы еще и число без количества — ноль). Этим они обязаны своей особой способности наблюдать окружающее, расчленяя наблюдение на элементы и выделяя из них субстанциональное зерно, как будто это наблюдение не есть непосредственное переживание, требующее немедленной деятельной реакции или хотя бы оценки.

Совершенно нетривиальным (однако в нашей европейской цивилизации общепринятым) является убеждение в том, что результат наблюдения не должен зависеть от наблюдателя. Напротив, обывательское сознание всегда учитывает, что на улице, где женщина заметила парикмахерскую, булочную и ателье мод, мужчины могли видеть только пивную, табачный ларек и

стадион. Всем известно, что слово «наблюдать» в языке может означать не только созерцать, то есть «следить за тем, как...», но и, например, «следить, чтобы» и «следить, чтобы не...». Разумеется, это не случайно и связано с обычно определенной целевой функцией наблюдения и необходимо эмоциональной реакцией на него в обыденной жизни. Библия, которая много столетий формировала еврейское сознание, очень ясно отличается в этом вопросе от Илиады. Если Иеремия, видя отрубленные руки и ноги своих соплеменников, так мечется и стонет, что, собственно, о подробностях зверств вавилонян мы почти ничего не узнаем, Гомер описывает убийства даже своих любимых героев так подробно, что временами возникает ощущение, будто он этим любитесь¹.

Культура объективного наблюдения у евреев еще в I в.н.э. находилась на столь низком уровне, что им приходилось каждую пятницу всходить на Масличную гору в Иерусалиме, чтобы, увидев первую звезду, узнать про наступление субботы (календарь для этой цели начал применяться только с II в., уже после разрушения Иерусалима). В эти времена у евреев была богатейшая литература и очень высокая грамотность — практически все мужчины умели читать и писать, так что этот факт характеризует не уровень культуры, а ее особую направленность. Исключительно гуманитарный характер этой культуры (даже врачи-евреи появились несколько веков спустя) определялся ее синтетическим (в отличие от аналитического в эллинизме) подходом к жизни и ее проявлениям и сугубой социально-психологической или гуманитарной направленностью Библии. Если Филону Александрийскому удавалось найти в Библии элементы учения Платона, это означает не то, что в ней имеются образцы абстрактного мышления, а то, что в Библии, как во всякой реальности, схематический анализ может выделить абстрактные элементы. По-видимому, и М. Бубер прав, когда он утверждает, что в еврейском вероучении содержатся все элементы кантианства. Но и здесь связь такая же: из расчлененной картины реальности можно выделять элементы, но обратная задача однозначно не решается — по элементам исходная картина не восстанавливается. Из Канта воссоздать еврейское или какое-нибудь другое вероучение невозможно. И Платон, сколько бы его ни расширяли, не может превратиться в Библию. Так, анатомируя тело, язык и мышление, мы достигаем многого, но все попытки, исходя из нашего знания, построить что-нибудь жизнеподобное пока что оканчивались неизменным крахом.

Таким образом мы видим, что по крайней мере в исходной традиции еврейское мышление было в чем-то противоположным аналитическому научному подходу и, в соответствии со спецификой нового объекта, на протяжении почти двадцати веков (в Библии, Талмуде и Каббале) отличалось нерасчлененным, синтетическим характером, который ближе к тому, что мы сейчас называем художественно-образным типом мышления, чем к логическому строю теоретического сознания.

Обратившись к современности, мы увидим, что и теоретический вклад евреев в современную науку, будь это теории Н. Бора и М. Борна, К. Маркса и З. Фрейда, А. Эйнштейна и Н. Винера, с точки зрения логических обоснований, отнюдь небезупречен. На хорошо знакомом нам материале советской науки мы видим, как проигрывают в логической завершенности идеи Л. Ландау на фоне идей Н. Боголюбова и как настолько же при этом они выигрывают в применении к физической реальности. Целая школа физиков, воспитанная на «Курсе теоретической физики» Л. Ландау и Е. Лифшица настолько, что называют его попросту «Книгой», воспринимают этот курс как «естественный разум», в то время как математики совершенно не могут понять возможности работать с таким логически несовершенным аппаратом. Именно этот логически несовершенный аппарат оказывается сравнительно плодотворным при анализе физической реальности, причем, чем сложнее эта реальность, тем настоятельнее потребность у физиков прибегнуть к логически еще менее совершенным идеям.

Если уж как-то характеризовать еврейское мышление в целом, то скорее следует отметить его постоянную замутненность эмоциональным элементом, его повышенный реализм, заставляющий все время сбиваться с формального уровня на семантический, его тотально-универсалистский религиозный характер, заставляющий больше ценить **содержательный результат**, хотя бы и логически необоснованный, чем эстетику правильного построения, хотя бы и тавтологического². Конечно, все эти качества противоположны основным качествам правильного теоретического мышления, которое, будучи формальным и тавтологическим по необходимости, вынуждено этим страстям противостоять.

По-видимому, величайшее богатство, которым Диаспора одарила евреев, гораздо большее, чем золотые и серебряные сосуды, вынесенные из Египта, это вкус и способность к правильному наблюдению абстрактному мышлению. Теоретическое мышление пришло к евреям вместе с эллинизацией и греческим языком и было отчасти враждебно воспринято. Но уже у творцов Талмуда и Филона Александрийского возникло понимание абстрактного мышления («греческой мудрости») как бесценного инструмента, который может быть использован для долговечного закрепления эфемерного и субъективного смысла, так быстро улетающего из чисто образных конструкций по мере изменения обстоятельств и стирания свежести образов³.

По-видимому, величайший вклад, который евреи сделали в мировую культуру в новое время, напротив, состоит в том, что, овладев этим инструментом, они сумели на новом уровне внести свой реалистический оттенок обратно в теоретическое мышление, а субъективизм — в условия наблюдения, уже как конструктивный, обогащающий элемент в современной культуре. Так называемые величайшие открытия физики XX в. ввели в науку, в качестве формализованных принципов, особенности реалистического сознания — нераздельность времени и пространства,

необходимость включения наблюдателя в общую картину мира, взаимодействие наблюдателя с наблюдаемым объектом и делокализацию частиц в пространстве-времени. (Именно эту часть физики нацисты обоснованно называли «еврейской» и, в отличие от теоретического мышления, как такового, преследовали.)

Тот, кто скажет, что все вышеперечисленные «новые» научные принципы совершенно новы для него и не умещаются в сознании, докажет только, что современное образование настолько плохо, что еще в школе совершенно заглушает нормальную интуицию и приучает о науке думать почему-то совершенно другим способом, чем о жизни вообще. Действительно, новым в этих принципах является только то, что они «научные». В обывательской практике никто сомневается, что чем интенсивнее ты работаешь, тем быстрее бежит время (тривиальность этого обстоятельства зафиксирована во множестве анекдотов об Эйнштейне и теории относительности), и что мир без «меня» не существует (когда ребенок закрывает глаза, он что его никто не видит), следовательно, не может быть адекватно описан. Также все знают, что павловские собаки в клинике, в зоопарке и в лесу, пейзажи и радиоприемники, автомобили и ведут себя и выглядят по-разному, в зависимости от того, кто, когда и с каким намерением их наблюдает. И, наконец, всем известно, что одновременное присутствие движущегося и распространяющего о себе информацию объекта в разных местах более естественно, чем его точная локализация в пространстве. Так, если человек бежит и кричит, то свойства его характера проявляются за сотни метров от его тела с такой явственностью, с какой, быть может, они не смогли бы проявиться при непосредственном контакте, и, услышав издали свист бомбы, человек бросается на землю, не дожидаясь ее точной локализации. Также и присутствие наших умерших близких иногда сильнее влияет на нашу жизнь, чем материальное давление обстоятельств.

Таким образом, вся та чепуха, которую полстолетия распространяют популяризаторы науки о якобы революционных сдвигах в сознании человечества, означает только, что в научной среде, привыкшей свысока относиться к обывателю и его «предрассудкам», произошла паника и возникло ощущение, что, быть может, некоторые из «истин», которые за пару столетий до того они освоили и вколотили в обыденное сознание через школу и университет, такие же предрассудки (если не худшие), как и те, на смену коим они пришли.

Классическая механистическая точка зрения, с которой следствие однозначно определяется причиной, вовсе не является порождением «естественного» разума, а отражает всего лишь многовековую традицию применения логики к научным вопросам. Однозначность логики, которая есть лишь результат соглашения между людьми, вовсе не обязательна для природы, которая ничего не знает о наших соглашениях. Тем не менее детерминизм всегда связывался с научным мировоззрением и даже с «естественным» разумом.

На самом деле весь этот набор представлений, с которым пришлось бороться «новой» физике, вовсе не является порождением естественного разума, которому естественнее всего думать, что время бежит быстрее, когда ему веселее живется, и которому небо зачастую кажется «с овчинку». Классические детерминистские воззрения, которые укоренились с XVII в. в Европе, так тяготили естественный разум, что он не без оснований пытался эмансипироваться от науки, изыскивая ей религиозные, художественные и спиритические альтернативы. Если бы мыслители XVIII в. действительно были последовательны в своем предпочтении естественного разума, лапласовский детерминизм не смог бы возникнуть, а опытов Фарадея и теории Максвелла оказалось бы вполне достаточно для построения специальной теории относительности (на полстолетия раньше ее фактического возникновения)⁴. Специальная теория относительности настолько очевидно является частью теории поля, что в любом разумном учебнике излагается в самом начале ее, давая естественную основу для сближения теории поля с механикой, но и одновременно разрушая простую механическую картину мира. Только предрассудок «объективности» науки много десятилетий не позволял физикам включить в картину мира наблюдателя и освободиться от представления об «абсолютной» системе координат. Даже Эйнштейн, включив, наконец, этого наблюдателя в рассмотрение, снабдил его таким запасом объективности, чтобы его влияние никак не ощущалось (из результатов теории он выпадает). Поэтому уже принять квантовую механику, где этот наблюдатель так сильно напроказил, было не по силам и самому Эйнштейну.

Эта пресловутая объективность и детерминизм научных воззрений есть результат длительного прививания теоретического мышления (в его самой оголтелой форме) к обывательскому сознанию, которое постепенно привыкло загонять в подкорку свои естественные представления. Обе эти навязчивые идеи возникли в античные времена вместе с представлением об абсолютном пространстве, независимом от времени, когда теоретическое мышление греков породило принцип отвлечения (изъятости) и философское представление об «идеях вещей».

Хотя греки построили геометрию, астрономию, механику и другие дисциплины, под влиянием которых сложилось наше представление о науке как таковой, античная наука не представляла собой подлинного органического единства, содержащего тенденцию к развитию. Античная наука, будучи весьма развитой в смысле объема сведений, не складывается в единую систему, заставляющую увязывать одни сведения с другими. Рассказы о висячих садах Семирамиды, людях с собачьими головами и особых свойствах янтаря (статическое электричество) мирно сосуществовали с геометрией Евклида и системой Птолемея. Эта наука, возможно, представляет собой образ мыслей, но не мировоззрение, ибо явления в ней связаны не по происхождению, а по смежности. Она лишена той формообразующей тяги, которая заставляет ученого из-за наличия определенного факта

предпринимать розыски других следствующих фактов и не дает успокоиться, пока либо соответствующие факты не будут разысканы, либо исходный факт опровергнут. Эклектизм и плюрализм античной науки вполне соответствуют античному политеизму и пространственно-статичной картине мира, включающей человека лишь как случайный элемент. Тесно связано с этой статичностью и преобладание описательного момента над объяснительным в науке того времени.

Настоящий импульс к развитию эта наука получает только после упрочения христианства в мозгах учеников и учителей. В соответствии с монотеистическим принципом христианство (независимо от желания воспитуемого) закладывает в сознание принцип иерархического построения природы, требующий непрерывного достраивания системы взаимосвязанных частей знания вокруг некоего смыслового центра. Нужно сказать, что аналогичная потребность дает себя знать и в арабском средневековом мире, где эта же библейская идея проявляется в мусульманстве. Геометрия Евклида, которая была лишь наукой о линиях и фигурах (то есть образах, идеях, далеких от грубой действительности), и механика Архимеда, которая была наукой о механизмах (то есть игре фантазии, «чудесах искусства Изобретателя»), превратилась у Галилея, Декарта, Кеплера и др. в науку о **Природе**, которая составляла общее дело и общую цель всех ученых и приобрела черты некоторой законченности у Ньютона⁵.

Физика Фалеса Милетского, которая была лишь описанием окружающих нас **чудес**, и атомистика Демокрита, которая была философией, то есть рассуждением об **идеях** вещей, превратились, благодаря Ф. Бэкону, у Гильберта, Дальтона и др. в опытную науку о самих **вещах**. Теперь нельзя было увидеть никакого удивительного явления без объяснения его причин либо пересмотра предшествующих представлений. И люди действительно стали меньше видеть...

Если в античные времена геоцентрическая система Птолемея могла столетиями сосуществовать с гелиоцентрической системой Аристарха Самосского, так же как и теория выживания приспособленных организмов Эмпедокла совмещалась с представлением о неизменности видов животных и растений, во времена торжества христианства появление системы Коперника начисто зачеркивало ценность системы Птолемея, а теории эволюции Ламарка и затем Дарвина исключали как друг друга, так и представление о неизменности сотворенных Богом видов. Конечно, опытные данные, которые якобы приводят к торжеству «правильных» теорий, тут совершенно ни при чем⁶. Во времена Коперника опытных данных в пользу его системы было столько же, сколько и против, а насколько малую роль сыграли опытные данные в теории Дарвина, видно из того исторического факта, что Г. Уоллес, совершенно не владевший тем громадным фактическим материалом, которым владел Дарвин, заметно опередил его, предвосхитив все его концепции. Таким образом, определяющим моментом в этом развитии наук был момент идеологический, требующий от мировоззрения единства и согласованности частей, которые были заложены в сознании ученых веками христианской монотеистической теологии⁷.

Это значит, что библейское синтетическое мышление уже включилось в основания науки, задавая ей лежащую вне ее цель (движение в направлении Единства Мира, как Истины), но еще не определило собой ее методов, оставив в неприкосновенности принципы изъятости и однозначного детерминизма.

Естественное развитие этой, все еще в основном евклидовско-демокритовой науки⁸ привело, в конце концов, к конструированию Всеобъемлющего Интеллекта Лапласа, которому достаточно подставить все $6N$ начальных условий в $3N$ уравнений Ньютона, относящихся к N частицам, составляющим мир, чтобы получить все прошлое ($t \rightarrow -\infty$) и все будущее ($t \rightarrow +\infty$) этого мира на любой срок. Такой Всеобъемлющий Интеллект не был бы Богом, ибо он лишен воли, а только Големом, вычислительной машиной, которая осуществляет идею Рока. Вот каково последнее слово этой науки! Идея рока, которая возникает на этом пути как естественное обобщение эллинских представлений о детерминированности в сочетании с единством мира. Так европейская наука, стремясь все время вперед, пришла назад — к доантичному и почти доисторическому Началу, которое, объединяя разрозненные сведения в одном мистическом единстве, просвечивает у Гомера, возвышаясь над людьми и богами: «Но и бессмертным богам невозможно от общей Судьбы неминуемой милого им человека избавить...» (Илиада).

Гомер предшествует античности и науке, и в его художественном мире присутствует первобытное единство, которое распалось вместе с возникновением науки и падением мифологического сознания. Христианство и Возрождение, некритически восприняв греческую науку и неудержимо стремясь к единству, достигли его в научном мировоззрении ценой свободы воли. Эта пиррова победа для христианства равносильна самоубийству. Гомеровский Рок пробился через двадцать-тридцать веков забвения и снова гордо поднял голову. И христианский бог спасовал перед ним, поддавшись панике (по-видимому, именно эту несовместимость ощутил Б. Паскаль, бросивший науку, но не могший победить языческого идола внутри ее), отступив в монастыри (непознаваемость и непостижимость божьей воли есть убежище мыслителя — обитель спокойствия, монастырь), ограничившись гуманитарной сферой⁹.

Таким образом, идея Предопределения, Необходимости, Объективных Условий и Обстоятельств господствовала в европейской науке XIX в. всецело, не зная для себя — в своей сфере — никаких ограничений. Еще веком раньше влияние этой давящей идеи стало распространяться и на гуманитарные области в форме различных утилитарных и «научных» теорий социального устройства

и человеческого поведения¹⁰. Все это происходило отнюдь не благодаря «естественному» разуму, ибо естественному разуму также естественно ощущать свободу воли, а вопреки ему (а также вопреки еврейству и подлинно христианскому духу), благодаря усвоенной эллинской традиции рационального теоретического мышления.

Уму непостижимо, как материалисты и нигилисты разных оттенков в течение ста лет умудрялись избежать Харибды Предопределенности, неразрывно связанной с детерминизмом. Зато к концу жизни весьма многих, доказывавших «научно» (на лягуш-ках), что «Бога нет», проглотила-таки Сцилла мистицизма, альтернативно дополнив, таким образом, их мировоззрение.

Потребовалось двухсотлетнее укоренение христианства в сознании европейцев после перевода Библии на национальные языки, потребовался серьезный философский кризис, разрушивший веру в логику и дискурсивное мышление, потребовалось целое поколение еврейских мальчиков, воспитанных в немецких университетах, чтобы естественный, то есть приспособленный к сложной неодносвязной реальности, разум и стремление к цельности, единству создали совершенно новую, свободную от эллинской статичности (а отчасти и от гармонии, уравновешенности) картину мира, включающую неопределенность и непредсказуемость.

Хотя новая картина мира вовсе не завершена и даже весьма далека от завершения, ее основные черты уже ясно обозначились. Эти основные черты настолько противоположны старой детерминистской и объективистской картине, что изменение никак не может быть сведено к какой-либо форме развития. То, что многое в этой новой картине остается неизменным с античных времен, не меняет того факта, что последовательное движение не ведет от старых представлений к новым. Соотношение рационального, эллинского и реалистического, иудейского (популяризаторы любят называть этот элемент «сумасшедшим» — «Безумные идеи»), логического и парадоксального, — в новой картине совершенно новое и не сводится к обогащению прежних представлений. (В некотором отношении современные представления даже беднее, так как заведомо запрещают нам некоторые мыслительные операции с природными объектами, а прежде таких ограничений не было).

Здесь кажется вполне уместным представление о системе вложенных друг в друга по иерархическому признаку теоретических картин реальности.

Действительно, так же как вся геометрия Евклида входит частным случаем, клеткой, в Эрлангенскую программу, рассматривающую возможность существования целой системы различных геометрий, так и специальная теория относительности включает законы Ньютона в некотором частном случае, а квантовая механика может в каком-то пределе включить, как частный случай, классическую, не зачеркивая ее области применения.

Но тут же поджидает нас и разочарование в этой стройности: такие операции возможны только с «теоретической», то есть до конца формализованной, — то есть мертвой реальностью, заведомо схематической и в своих посылах конечной. В отношении живой науки как мировоззрения такая операция невозможна, и несовместимость новой картины со старой остается свидетельством существования разных типов мышления, как различных цивилизационных признаков. Так, видя сходство кошки с тигром, мы, тем не менее, вынуждены признать, что между ними нет ни взаимоотношений общего и частного случаев (тигр не включает кошку в качестве частного случая), ни взаимоотношений оригинала и его развития (тигр не развился из кошки). Между тем, если мы уьем обоих и, подсушив, разложим их косточки во взаимоотнооднозначном соответствии, мы, возможно, и сумеем предложить такие геометрические преобразования, которые превратили бы эту «теоретическую» кошку в «теоретического» же тигра. Таким образом, мы сразу видим, что и польза от этого могла бы произойти только для систематики и типологии, позволивших увидеть, что оба эти организма произошли от одного предка и типологически различны. Внутри времени жизни такого организма, пожалуй, актуально и понятие развития.

О современной науке можно сказать, что она развивается, но она развивается не от того корня. Генетически она представляет собой совсем иное сочетание эллинских и библейских элементов, чем наука XVII — XIX в.в., которая, возможно, умирает. Этот новый образ мыслей, связанный с современной наукой, не только новая идеология, но и — другой тип души.

Эйнштейн пришел к более общему единству, чем было достигнуто до него, не потому, что таков единственно возможный теоретически мыслимый путь, а потому, что цельность сознания у Эйнштейна и стремление к единству в современном ему мире сильнее, чем стремление к объяснению наблюдаемых фактов. Тот факт, что Джойс и Кафка, а также модернистская живопись, искажающая натуру в зависимости от настроения художника, оказались современниками теории относительности и квантовой механики — не случайность, а социальный признак, характеризующий специфический душевный склад, который начинает играть ведущую роль в духовной жизни современного общества. С. Кьеркегор, который был известен своим современникам только как блестящий стилист, — вдруг, благодаря Л. Шестову, М. Буберу и другим современникам Ф. Кафки (а, следовательно, и вышеупомянутых теорий в науке) стал основателем целой философской, — и даже более чем только философской, жизненной, — школы, так что его весьма своеобразная душевная жизнь превратилась в некую экзистенциалистскую норму, противопоставленную детерминизму «науки» и «объективизму» (гегелевской) философии.

Современного типа единство, несомненно, ближе к библейским запутанности и парадоксализму, определяющим динамику, чем к гомеровской пластической гармонии, но оно, конечно, продолжает заключать в себе оба элемента. Соотношение между иудейским (здесь это то же, что христианским) и эллинскими элементами в современной научной картине мира совсем не то, что в картине,

созданной Возрождением. Если наука того времени взяла от христианства (здесь это то же, что и еврейство) только стремление к единству мира, то в науке XX в. явно присутствуют представления о свободе воли¹¹, взаимодействии, обязывающем обе стороны, влиянии возможного и, следовательно, будущего на действительное, то есть настоящее, и другие признаки библейской идеологии. Также и ясно обозначившаяся тенденция к распространению на гуманитарные области научного подхода, соответствующего специфике объекта (теория информации, кибернетика, семиотика и т.п.) — в отличие от прежних вульгаризаторских попыток — свидетельствует о гораздо более высоком типе единства (и более близком к библейскому), которому соответствует современный идеал. Но принципы связи элементов между собой и вычленения образов из реальных объектов остаются эллинскими и в современной науке. Точно так же осталась эллинская манера представлять результаты в качестве «объективной» истины при помощи логических или эмпирических доказательств. Только благодаря этому был возможен самообман, позволивший Эйнштейну или творцам квантовой механики думать, что они только дополняют и развивают существующую науку, а не создают в корне новую.

В нашем мире, по-видимому, действительно произошло нечто необычное. С одной стороны, подтверждается тезис О. Шпенглера о закате Европы, ибо закат определенного круга идей и чувствований произошел, и старый тип гуманизма агонизирует. С другой стороны, почти на наших глазах сложились камни для фундамента совсем иной культуры, которая бурно растет и пугает своим витализмом приверженцев старой. Быть может, мы не заметили перелома, который заставит в будущем считать время между двумя мировыми войнами началом новой эры?

¹ Такая особенность Гомера и всей последующей греческой литературы положена С.С. Аверинцевым в основу различия античной «литературы» от «ближневосточной словесности», которая, по-видимому, в основном, сводится к Библии. Нижеследующие заметки можно было бы рассматривать как распространение этого различия на научное мышление, если бы я мог добиться такой же полноты аргументации («Вопросы лит.». № 2.1971). Однако в другом отношении различие, которое отмечает С. Аверинцев, неполно. Он видит (как и многие предшественники) в библейском сознании примат времени в противоположность гомеровскому примату пространственного восприятия. Но для физика очевидно, что различие между ними — не различие временного и пространственного восприятий (в Библии и в Гомере можно (см. стр. 62) найти множество гегенбайшпилей, опровергающих общее впечатление пространственной обедненности Библии и статичности Гомера), а различие между четырехмерным миром, в котором время — одна из координат и трехмерным, в котором время — уникальная общая ось, на которую насажены все системы координат, то есть различие между эйнштейновским и ньютоновским мирами (уникальность оси времен в классическом мире и вызывает искушение отделаться от времени вообще, например, системой вложений или путем введения циклов).

² Л. Ландау говорил, что есть два способа научной деятельности: «Делать то, что нужно — так как можно; или то, что можно — так как нужно».

³ В мусульманской Испании X — XII вв. «греческая мудрость» настолько прочно вошла в культурную жизнь евреев, что ученые не верили, будто когда-то евреи существовали без нее. Бытовало предание, что Сократ и Платон были учениками пророков и что греческая мудрость заимствована из еврейских книг, затерявшихся во время разрушения Второго Храма.

⁴ Эйнштейн не знал об опыте Майкельсона и т.о. не использовал «новейших данных» при создании своей теории (см. УФН, 1972).

⁵ Обычно переоценивают значение опытных данных для Галилея, упоминая его закон инерции как шаг вперед по сравнению с Аристотелем. Нужно сказать, что представление Аристотеля о движении, пропорциональном силе, гораздо больше соответствует земному опыту. Суть не в опыте, а во внутренней связи различных явлений между собой. Для Аристотеля нет никакой связи между его законом движения (на земле) и поведением небесных тел, а Галилей исходит из необходимости связать одно с другим.

⁶ Л. Ландау как-то сказал, что совпадение теории с опытом ничего не значит, «ибо среди бесконечного множества дурацких теорий должны найтись и такие, которые совпадут с экспериментом». (Он сказал: «Континуум теорий»).

⁷ Я не считаю возможным при подобной точности рассуждений различать христианскую и иудейские теологии. Связь научных концепций с теологическими слишком опосредована, чтобы отличие христианства от иудейства на ней сказывалось.

⁸ В «Курсе лекций по физике» Р. Фейнман говорит: «Если бы вся цивилизация должна была бы погибнуть и меня спросили, какую одну фразу завещать потомкам, чтобы в ней содержалось максимальное количество научной информации, я бы ответил: — все тела состоят из атомов, маленьких частиц, которые притягиваются на больших расстояниях и отталкиваются, если их прижать друг к другу.»

⁹ Когда выдающегося астронома XVIII в., католического священника Секки спросили, как он может совмещать эти профессии, он ответил: «Когда я занимаюсь астрономией, я забываю о своем

священничестве. Когда я исполняю обязанности священника, я забываю астрономию». Это ли не капитуляция для верующего христианина!

¹⁰ С. Кьеркегор так выразил эту мысль: «Если признать этическое, т.е. всеобщее, наивысшим, не понадобится никаких иных категорий, кроме тех, какие знала греческая философия или какие можно извлечь из нее путем последовательного мышления» («Страх и трепет», Проблема!).

¹¹ Э. Шредингер постоянно употребляет слова «свобода воли электрона» и «Господня квантовая механика». («Что такое жизнь с точки зрения физики»).

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

УНИКАЛЬНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА И ВЫЗОВ

(Впервые опубликовано в «22», № 20, 1981.)

Всякий, поселившийся в Израиле, через некоторое время находит себя в трудном положении человека, которому задали скептический вопрос: «Ну, и что?» Сначала он несет в ответ лихорадочный бред, который, естественно, возникает в голове у каждого при столкновении с такими фундаментальными вещами, как Храмовая гора (Мория) или гора Мегиддо (Армагеддон). Потом — все чаще запинаясь, наблюдая, как подлинность переживаний вытесняет литературные образы и не оставляет места для словесного выражения. Только на первый взгляд эта беспомощность кажется чисто словесной. Только в первый момент эта безгласность кажется порожденной близостью к библейскому сверхлитературному канону. Главное все же — не в выражении. Главное — в нашем внутреннем состоянии.

Словесная растерянность пришельцев соответствует нашей внутренней растерянности, порождаемой уникальностью жизни, которой мы живем. Эта уникальность не является следствием нашего жизненного опыта и потому не дает уверенности в понимании всего Замысла, как целого.

Нельзя сказать, что мы вообще не были готовы к уникальному. Некоторые из нас подготовили и весьма многие приняли исход из России с подлинным энтузиазмом. Я думаю, если бы судьба наша сложилась иначе и наши сорок лет нам предстояло бы провести в Сибири, многие сумели бы погибнуть достойно. Но исход наш был порождением и продолжением нашего российского опыта. Он родился как воплощение нашей мечты и идеальный выход из нашего безвыходного положения. Конечно, наш исход был чудом. Но он был, так сказать, чудом очеловеченным. Он отвечал скрытым упованиям и открытым стремлениям. Он позволял себя эксплуатировать. Исход разрубал безнадежно запутанные узлы, оправдывал поспешные решения, отменял ежедневные заботы.

Первое, с чем мы столкнулись в Израиле, что любой знакомый гвоздь, подобранный нами на общей дороге, оказывался не от той стенки. Тот из нас, кто скажет, что он с самого начала все понимал, только подчеркнет, что он и сейчас ничего не понимает. Израильская жизнь, в отличие от исхода, родилась не от нашей мечты. Она была построена не как выход для нас, а как продолжение истории, в которой мы не участвовали. Наше участие предусмотрено только в неопределенном будущем. Оно не обеспечено, а лишь проблематично, ибо определяется нашими качествами, в которых мы менее всех уверены.

Весь свободный мир одинаково далек от взлелеянной нами в России мечты о неограниченной, но «правильной» свободе. Оказывается, свобода в этом мире смыкает различие между правильным и неправильным. В первую очередь исчезает различие между правильными и неправильными взглядами, которое казалось нам таким очевидным. Не то, чтобы правильные и неправильные взгляды в чем-то сблизились. Но неравенство между ними исчезло. В свободном мире оказалось достаточным, чтобы какой-нибудь взгляд поддерживался некоторой группой, чтобы его «правильность» автоматически оценивалась пропорционально силе и влиянию этой группы. А как же Истина?

Постепенно наступает и отмирание неравенства между правильными и неправильными действиями. Трудно отличить правильные забастовки, которые ведут к повышению нашего жизненного уровня, от неправильных, которые ведут к дезорганизации нашего хозяйства и общественной жизни. Даже граница между преступлением и заблуждением начала размываться. Недавно английский суд совершенно всерьез рассматривал аргументы двух изуверов, забивших до смерти женщину, чтобы выгнать из нее злых духов. Суд признал это вполне допустимым вариантом идеологического заблуждения. Поведение убийц он квалифицировал как чересчур прямолинейное. Судья, присуждая обвиняемых к трем годам тюрьмы, сказал: «Я вынужден послать вас в тюрьму. Мне не легко. Вы действовали, хотя и ошибочно, но прямолинейно по-христиански и не имели злого намерения. Все же какое-то наказание необходимо, ибо как-никак человеческая жизнь была прервана зверским образом, и это происходило слишком долго, чтобы походить на внезапный порыв». Действительно, они топтали ее ногами около двух часов, раздавили ей грудную клетку и осколками ребер многократно проткнули легкие... Урок, который они вынесли из суда, состоит в том, что в следующий раз следует делать это быстрее. Возможно, они сумеют возглавить небольшое движение...

Таким образом, мы находим себя на Западе окруженными неправильными людьми, руководимыми неправильными идеями, страдающими от неправильной политики в неправильно

организованной общественной системе, где мы обязаны считаться со всем этим, как если бы все это было правильным. В отличие от А. Солженицына, который может себе позволить лишь талантливо разоблачать этот неправильный мир, любой русский выходец в Израиле имеет право и обязанность попытаться его исправить. И тут наступает предел мечтаниям, конец талантам... «Мысль изреченная есть ложь!» А что сказал бы поэт о мысли воплощенной?!

Старикам — пионерам, основателям этого государства — приятно сознавать, что они добились невероятного, но все они признают, что добились не совсем того, чего хотели. Наиболее радикальные среди них утверждают, что это совсем не то. Израильская действительность во многих отношениях напоминает вновь прибывшему энтузиасту анекдот о ветреной жене. В ответ на замечание мужа, вернувшегося после долгой отлучки, что в ней «что-то теперь не то», она отвечает: «Всеу городу — то, а тебе — не то?!»

Мысль изреченная не есть ложь, но — дело. Как всякое дело, она несовершенна. И объективно (для всего города) Израиль выглядит очень неплохо. Даже настолько хорошо, что его уже исключили из числа развивающихся стран. Второе или третье место в мире по демократическим свободам, пятое, или там восьмое, место по жизненному уровню, седьмое место по численности и ударной мощи вооруженных сил... Но это не вдохновляет. Изголодавшаяся по идеалам душа репатрианта и развращенное советским воздержанием воображение пряника равно не готовы удовлетвориться скромной реальностью Израиля. Даже первое место на конкурсе песен и кубок Европы по баскетболу не утолят этой метафизической тоски по выдающемуся. Дайте нам зримые доказательства нашего первородства, и мы, может быть, и согласимся на восьмое место по жизненному уровню (обеспечив седьмое для наших вооруженных сил)!

Как ни странно, такое доказательство есть. Наша уникальность, наше первенство — вне сомнений. Мы не видим их, потому что мы не смотрим.

Израиль представляет собой единственное демократическое общество в мире, которое ставит себе идеологическую цель. Никто не обратил внимания на тот факт, что, вообще говоря, это невозможно. Демократическое, свободное общество, по определению, никаких целей преследовать не может, ибо оно и есть своя собственная цель. Разные группы в таком обществе могут преследовать свои различные цели, но как только одна из них сумеет навязать свои цели обществу в целом, такое общество выходит из свободного мира и отныне называется тоталитарным. Очень скоро его практика оправдывает этот эпитет.

Совершенно не важно, каковы были первоначально эти цели: социализм в России или национализм в Германии, Ислам в Иране или культурная революция в Китае. Главное во всех этих случаях, что общественная цель едина и все остальные цели в обществе подчинены этой сверхцели, которая приобретает все менее реалистические очертания. Выражаясь философским языком, телеологическое общество неизбежно становится теократическим. Иными словами, общества, преследующие некую цель вне себя, управляются правилами, происходящими не от общественных потребностей, а от идеологических догм, и людьми, которые связывают свои стремления не с обществом как таковым, а с мерой его согласия с их догмами. Если эта цель религиозная, обществом управляют священники, как это происходит в Иране, но, если цель первоначально и не была связана с религией, она сама превращается в религиозную идею, как марксизм в Советском Союзе или расизм в Германии.

Израиль является теократическим обществом, по крайней мере, по двум признакам: в Израиле нет законодательного отделения религиозного сектора от государственного, и в Израиле нет конституции. Причем она отсутствует не по недосмотру или спешке первых лет, а в сознании того факта, что народу, у которого есть Тора, не нужна конституция. Я добавлю еще и третий, решающий признак: Израиль создан и существует благодаря одной-единственной идеологии — сионизму — и управляется (и может управляться) только сионистскими партиями. Если бы несионистская коммунистическая партия и получила благодаря арабам необходимое число голосов, она все равно без гражданской войны не смогла бы войти в правительство. Итак — идеократическое государство...

Большинство демократически настроенных критиков Израиля формулируют свое возмущение в форме вопросов: «Как это возможно: в демократическом государстве — жить без конституции?» или «Как это можно: терпеть в свободном обществе вмешательство религии в светские дела?» Между тем, если мы действительно хотим что-то понять в этом случае, мы должны ставить вопросы прямо противоположным образом: «Как случилось, что государство, у которого нет конституции, остается демократическим?» и «Каким образом в теократическом государстве общество может оставаться свободным?» Когда мы сформулируем вопросы именно так, нам станет ясно, что сходство Израиля с другими демократиями — это не более чем иллюзия, порожденная нашей неспособностью увидеть и оценить единичное.

Израиль может быть на втором или еще каком-нибудь месте по осуществлению демократических прав (или, наоборот, на каком-то месте по централизации управления), но это так же не ставит его в один ряд с другими современными обществами, как тот факт, что человек находится, допустим, на четвертом месте среди животных по продолжительности жизни, вовсе не ставит его на четвертое место в животном мире. Так же как и тот факт, что Израиль занимает чуть ли не первое место в мире по милитаризации населения и экономики, не делает его милитаристским государством. Это на собственном опыте знает каждый израильский гражданин. Израиль — первое в мире, и пока единственное, теократическое государство, в котором соблюдаются и охраняются права человека.

Мы живем в эпоху постепенного преобладания тоталитарных, теократических систем во всем неевропейском (а, может быть, скоро и в европейском?) мире. В эпоху, когда экономическое процветание западных демократий уже не заглушает сосущего чувства бесцельности существования, охватывающего секуляризованные общественные группы. Демократические общества живут, чтобы жить. Они развиваются вовсе не потому, что ставят себе такую цель. И жизненный уровень их граждан повышается не в ответ на требования справедливости. Растет ли это благополучие или убывает, всегда находится множество общественных групп и отдельных граждан, готовых разрушить все здание ради какой-нибудь зажигательной идеи. К счастью для всех, у большинства сытое брюхо к идеологическим учениям глухо. Но надолго спокойствие не обеспечено нигде.

Израиль — идеологическое государство. Это пока единственное в мире идеологическое государство, в котором идеология не пожирает своих последователей.

В одном из своих выступлений в защиту православной автократии в России А. Солженицын привел Израиль как пример религиозного государства, в котором, тем не менее, нет ущемления человеческой свободы и ограничения прав. «Религиозное государство, — сказал он, — вовсе не обязательно означает тоталитарный режим». На первый взгляд это кажется верным. Но давайте представим себе, что все это происходило бы лет семьдесят назад. Разве не с тем же правом Вл. Ленин указывал бы нам сейчас на Израиль, как страну, доказавшую, что социализм вовсе не означает разбой и убийство? Он мог бы сказать, что «из этого частного примера мы можем заключить о возможности социализма с человеческим лицом». Мы все немало посмеялись в свое время над этой формулировкой, содержащей в себе свое отрицание. Но такой социализм в самом деле существует в Израиле, и, что бы о нем ни думать, невозможно отрицать, что у него, в общем, человеческое лицо.

То, что вдохновило Солженицына в Израиле, противоречит нашей обычной логике. То, что вдохновило бы Ленина семьдесят лет назад, противоречит также и всему нашему жизненному опыту. То, что происходит в Израиле, не случается больше нигде. И никаких других примеров ни Солженицыну, ни Ленину привести бы не удалось. То, что не имеет прецедентов, является исключением, а не правилом.

Единственный случай, исключение, всегда бросает новый луч понимания на общее правило. Если случилось так в мире, что страна без конституции вполне демократична, следует задуматься: в конституции ли тут дело? А уж тогда вспомним, что и на родине демократии, в Англии, с конституцией дело обстоит неважно (она была принята во время Войны Алой и Белой Розы, то есть, кажется, в XIII веке), да и Сталинская конституция была не худшая в мире — а что толку? Если в нашем теократическом государстве общество пока остается свободным, следует задать вопрос: **а почему оно не бывает свободным в других идеократических государствах?**

Я боюсь, что мой ответ огорчит равно и сторонников, и противников идеологического государства, и оттяну его еще на полстраницы.

Теоретически может быть только два ответа. Либо господствующие идеологии других обществ почему-то не позволяют свободы, то есть сам характер их религий препятствует свободе личности. Мусульманство, допустим, хуже христианства. Католичество жестче протестантизма. Но тогда пришлось бы признать, что почти все идеологии препятствуют свободе, ибо можно набрать много соответствующих примеров для каждой из них. И тогда напрашивается противоположный ответ, состоящий в том, что сами эти общества неспособны к свободе, то есть характер их членов препятствует осуществлению ими свободы при любой мыслимой идеологии. Так что ничего удивительного нет в том, что Свободное Государство Ирландия остается полуфашистским, несмотря на свое название и демократическую конституцию, а Объединенное Королевство свободно, вопреки своему аристократизму и отсутствию конституции. Однако и это ведь не все. Существует еще такая вещь, как взаимодействие идеологии со своими носителями. Любой народ и любая группа неизбежно деформируют идеологию, которая становится их собственной. Башмак всегда стопнется по ноге.

Теперь я действительно приближаюсь к ответу. Мы живем в такое время, когда любая идея имеет шанс осуществиться, и любая группа людей имеет шанс основать новое общество. В наше время нет сомнения, что именно сознание определяет бытие. Так как это по преимуществу массовое сознание, нет сомнений также и в том, что из всех возможных идей оно выбирает наихудшие. Массы во всем мире так трактуют теории, идеологии и религиозные системы, что и самые невинные идеи оказываются безумными руководствами к действию. Идея христианского братства не обязательно должна была привести патера Джонса в Гвиане к массовому убийству. Возможно, и национализм немцев или турок содержал что-нибудь еще, кроме кровожадности. Даже оголодавший призрак коммунизма не был так страшен, пока он еще бродил только по Европе и не забрел в Азию. Может ли быть что-нибудь более безобидное, чем пластиковый мешок для упаковки овощей? Все ли знают, что десятки тысяч людей (детей по преимуществу) были убиты красными кхмерами в Камбодже, удушенные с помощью обыкновенных торговых пластиковых пакетов, надетых на голову? Будем ли мы винить марксизм в этом преступлении или изобретателя пластиковых пакетов? Башмак стаптывается по ноге. Марксистский сапог и националистические лапти равно не в силах скрыть хамские копыта, особенно если они подкованы железом.

Историческая удача сионизма, везение и благословение состоят в том, что в течение многих лет он был движением меньшинства. Как и еврейство в целом, сионизм испытывал на себе благотворное влияние селекции, порожденной трудностями. Быть сионистом было так трудно, что процент отсева иммигрантов, вызывающий гнев Сохнута сегодня, показался бы замечательным успехом идеологии

для знаменитой Второй алии, основательницы и вдохновительницы Еврейского Государства. Триста воинов оставил Гидеон из всего своего войска, чтобы справиться с десяти тысячным врагом. Это и есть принцип, который спасал и облагораживал сионизм как идеологию, вплоть до образования государства. Какие бы достоинства у этой идеологии ни были, не они возвысили до самостоятельного существования в истории людей, положивших начало еврейскому заселению Палестины. Напротив, люди эти своим героическим служением возвысили свою идеологию от банального национализма, столь общего многим народам в конце девятнадцатого века, до уникального мессианского движения, имеющего всемирное значение.

Тридцать лет затем не было отбора в этом обществе. Тридцать лет после провозглашения государства любой еврей мог сюда приехать и выкомаривать здесь что хотел, по мере понятия своего. Тридцать лет все твердили, что мы такой же народ, как все, и только причудливые люди в старомодных костюмах что-то говорили об избранности, в каком-то невнятном смысле. Тридцать лет было не принято напоминать о Долге, об Идеологии, о Высших ценностях. Может быть, потому, что эти ценности еще сохранялись среди членов общества, построенного на жестком отборе? Может быть, потому, что результаты отбора еще не успели раствориться.

М. Бегин стал первым политиком в Израиле, который позволил себе говорить на международном уровне как власть имеющий. Он воспользовался мессианской потенциальностью сионизма и неожиданно для всех преуспел в своем народе. Тридцать лет этой жажде не было никакого утоления. Народ ухватился за знакомую от дедов идею избранности, как утопающий хватается за соломинку.

Я не знаю, можно ли назвать сионизм религией, но несомненно, что это вера. Т. Герцль, Х. Вейцман и другие сионисты с международным признанием так красноречиво доказывали всему миру, что мы — такой же народ, как все, что — не мир, конечно, но многие из нас — в это поверили. Жаботинский потратил такую бездну таланта, чтобы убедить нас в нашей заурядности, что и возражать как-то неудобно. Советские власти так упорно доказывали, что евреи — не народ, что доказать обратное было просто необходимо. Немцы так последовательно уничтожали евреев, как вредную расу, что многие поверили также и в то, что мы раса. Но я подозреваю, что оболочка национализма, которую принимает сионизм в писаниях своих идеологов и оправдательных речах израильского представителя в ООН, есть всего лишь весьма понятная психологическая защита от ужаса своей уникальности. Так Иона, услышав Голос небесный, повелевший ему пророчествовать, «встал и побежал от лица Господня», ибо он ничего хорошего для себя не предвидел от этой почетной миссии. Так сионистские политики и публицисты прячутся от ответственности и самих себя, выдумывая свой национализм или социализм, лишь бы не признать единственность и универсальное значение своего движения. В самом деле, не может же уважаемый господин. скажем Аба Эвен, хорошо принятый среди других уважаемых господ, скажем Ф. Миттерана и Б. Крайского, вдруг после пения Интернационала встать и заявить, что он верует, будто Бог избрал нас и заповедал заселить Святую Землю, что, наконец, исполнились сроки древних пророчеств, и именно на этой земле окажется возможным все то, о чем тысячелетиями тщетно мечтало человечество, каковую мечту, кстати, означенные Ф. Миттеран и Б. Крайский незаконно узурпируют под названием социализма. Да если бы он и смог, его бы немедленно в психушку увезли! Его собственные товарищи по партии. Но, по зрелом размышлении, чем еще отличается Аба Эвен от Бруно Крайского? Действительно ли они принадлежат к одному народу? Несомненно. Принадлежат ли они к одному движению? Возможно. Но важнее всего, что они — разной веры. И эта вера создает между ними непроходимую пропасть.

Вера, что еврейский народ избран и призван, вера в то, что, если евреи создадут свое государство, это будет государство особое — светоч для народов, вера в то, что, если это случится, мир переменится, эта вера так близка к народной вере, что непонятно, почему сионизм долгое время считался светским движением. Это несомненно было связано с некоторой идеологической застенчивостью. Социалисты тридцать лет предпочитали говорить, как их европейские коллеги, — полупешотом.

Народ, занесенный сюда ветром погромов, согнанный преследованиями, укрывшийся от конкуренции в жестоких демократических странах, — это был уже не тот народ, который может обогатить и украсить идеологию. Этот народ хотел, чтобы его наставляли и воспитывали. Он не был готов к свободе. Его угнетали вседозволенность и всепрощение. Народ, набравшийся из самых глухих углов цивилизованного мира, учившийся демократии у турков и румын, русских и берберов, вряд ли обнаружит демократический дух и самодисциплину. Такой народ нуждается в основаниях для самоуважения. Он в восторге ухватился за идею, льстящую его самолюбию. Может быть, он даже готов ради этого самолюбия на некоторые жертвы.

Мы поистине посетили сей мир в его роковые минуты. Мы увидим реальный выбор. До сих пор естественный отбор поддерживал нашу избранность. Теперь мы увидим, может ли идея избранности привести к поддержанию правильного отбора. Теперь мы увидим, содержала ли сионистская идея онтологическое зерно, способное укорениться в действительности.

Сионизм впервые стал идеей большинства. Чтобы доказать свою избранность, еврейский народ должен показать теперь, что именно в большинстве он далек от общего хамства. Сионизм имеет возможность руководить большинством и, показать, что это руководство способно привести к отличным от других идеологий результатам. Наше будущее не обеспечено. Наша группа — русские евреи — не самая демократическая в израильском обществе. Но — самая неопытная. Наше участие

неминуемо. Наша роль еще не предreshена. Каждый из нас будет ее импровизировать. Из суммы этих ролей сложится будущий облик Израиля.

Из суммы наших поражений может сложиться его будущее поражение.

РУССКАЯ АЛИЯ И ИЗРАИЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА

(Впервые опубликовано в «Сион» № 20, 1977 г., в дискуссии, посвященной культурным взаимодействиям в Израиле)

Термин «культура» — одно из самых неопределенных и одновременно эмоционально значимых слов в языке, и, начиная разговор на эту тему, я предвижу множество споров, которые возникнут просто потому, что их участники не определяют понятий (да их и трудно точно определить) и потому не понимают друг друга. Ни одна группа не признает свою культуру ниже других и потому обычно придает термину «культура» выгодное для себя значение, так что все участники спора оказываются и правы, и неправы одновременно, в зависимости от принятой терминологии.

Существуют, однако, по крайней мере, две причины, по которым такой разговор нужен, и нужен именно сейчас. Первая причина сводится к тому факту, что в русской алие (хотим мы этого или нет, просто по логике событий) лидирует и чем дальше, тем очевидней, интеллигентская группа, профессионально и по воспитанию связанная с русской культурой и в Израиле испытывающая значительные трудности абсорбции, отражающиеся на настроении весьма широких слоев. Что бы мы ни думали и ни говорили на эту тему, мы не можем изменить того, что именно их представления о событиях и жизни в Израиле определяют настроение основной группы евреев в России и их отношение к ключевым вопросам.

Вторая, менее очевидная причина, сводится к тому, что израильская культура во многих отношениях еще не сложилась и испытывает громадное влияние со стороны современных обществ Запада, так что любой конструктивный вклад в нее имеет значение для ее будущего. Мы, как общество, находимся, так сказать, в «импринтном»¹ возрасте, в котором любое влияние оказывает глубокое и долговременное воздействие.

Для практических целей этого обсуждения разделим условно еврейскую культуру на два этажа. На верхний этаж поместим те области культуры и традиции, которые оказываются общими у всех евреев в мире и которые, собственно, объединяют и формируют евреев как народ. Ясно, что сюда войдет религия, духовная традиция, древняя литература и несколько тысяч лет истории, понимаемой как единый процесс, вопреки фактической разобщенности отдельных общин. Никто не может объявить себя исключительным наследником этого духовного богатства, так же как никто не может в современных условиях жить исключительно на этом уровне. Даже группа религиозных ортодоксов вынуждена время от времени опускаться с этой высоты к практической жизни, которая не совсем безразлична для духа. Наша история, по-видимому, не случайно включает тысячелетия жизни в диаспоре, так что все мы являемся в то же время носителями также второй, более поздней, более быстрой и шире употребляемой культуры, которая проявляется в нашей общественной жизни, взаимоотношениях друг с другом, отношении к труду и профессии, системе житейских предпочтений и бытовом языке. Эти «житейские мелочи», в значительной мере определяющие наш образ жизни, составляют весьма обширный нижний этаж культуры, который различен для евреев разного происхождения и, вообще говоря, находится в разном соотношении с верхним этажом для разных социальных и этнических групп.

Исконно еврейское стремление к единству требует от нас жизни в верхнем этаже или, по крайней мере, постоянного мысленного присутствия там; современная жизнь постоянно разрушает лестницу между этажами и сосредоточивает все силы личности на достижении целей, лежащих целиком в плоскости нижнего этажа. Этот житейский факт разделяет евреев и может быть преодолен разными способами.

Общепринятый в Израиле способ состоит в том, что все силы сосредоточиваются на объединении всех евреев в одном из «отсеков» нижнего этажа, — а именно в том, который традиционно считается «наиболее близким» к верхнему из-за использования в нем языка иврит, связывающего современность с историей. На этом пути были достигнуты феноменальные успехи, благодаря которым только и оказалось возможным существование еврейского государства. Но после образования государства, когда этот вопрос уже не является вопросом выживания и живое существование иврита обеспечено существованием Израиля, становятся видны также и недостатки этого пути. В основном они сводятся к тому, что, поскольку для остальных групп евреев культура на иврите является заимствованной, они искусственно задерживаются на весьма элементарном уровне (газета, телевизор), который давно казался им пройденным этапом в их собственном культурном кругу. Таким образом, за право выйти за пределы «своей культурной группы, своего «отсека» в соседний они платят фактическим отказом от освоения высших ценностей, которые, возможно, более надежно связывали бы их с еврейским народом и его историей. Они оказываются в культурном вакууме, который часто воспринимают как недостаток израильской культуры, а не своего положения в этой культуре.

Сколько бы мы ни превозносили израильскую культуру, это не даст нам никакой реальной возможности ее по-настоящему потреблять и, тем более, творчески в ней участвовать, если мы не разработаем своего собственного пути от нашего «нижнего» этажа к общему «верхнему».

Следовательно, альтернативный способ еврейской жизни (принятый, кстати говоря, повсюду в диаспоре) состоит в разработке современных концепций, **связывающих** «нижний этаж» конкретной современной культуры данной группы евреев с вечными общеврейскими ценностями «верхнего этажа». В странах с богатой еврейской жизнью фактически существовала такая **еврейско-английская, еврейско-немецкая и еврейско-русская** культура. Наша специфическая трудность состоит только в том, что уже почти пятьдесят лет нашей еврейско-русской культуры не существует. Только это ставит нас в неравное положение с остальными евреями и вызывает множество недоразумений. Ведь в отношении еврейско-английской, например, культуры такой спор не мог бы существовать просто потому, что никто не стал бы всерьез обсуждать, существовать ли Солу Беллоу, Аврааму Гешелю и Эмилю Факенхайму. И американскому еврею никто не решится всерьез посоветовать отказаться от английского языка и своей культуры и вместо этого изучать газету на иврит-кала. Разумеется, он будет учить иврит и читать газету, но не станет возводить это занятие в ранг идеологии.

Не будем забывать, что люди, в основном, читают отнюдь не то, что «полезно», «важно» или «правильно». Они читают то, что им интересно, и с этим ничего не поделаешь. Это значит, что все усилия по пропаганде культуры, иудейских традиций и иврита пропадают даром, если они не основываются на соответствующей русской культурной традиции и не поддержаны людьми, для которых традиция является областью творчества и которые знают, как и что можно сделать интересным для русскоязычного читателя, безразличного к идеологии.

Поэтому русскоязычная литература в Израиле может быть полезной только, если она является живой, развивающейся отраслью культуры. Русской ли культуры? Еврейской? Это вопрос, который гораздо меньше занимает создателей этой культуры, чем ее потребителей и особенно истребителей. Но только существование такой «своей» культуры (а она может существовать лишь в Израиле), которая фактически имеется у всех прочих групп евреев (но ни у кого более не вызывает такие горячие споры), может дать русским евреям и полноценную еврейскую жизнь, и нормальную абсорбцию, и чувство уверенности и самооценности среди других групп израильтян. Русские евреи в Израиле ощущают свою культурную и психологическую общность, но благодаря бедности собственных культурных проявлений и своеобразной идеологической неуверенности воспринимают эту общность чуть ли не со стыдом. Почти каждый из нас будет доказывать, что у него много друзей среди ватиков и сабров. что он даже устал от русских олим с их комплексами... Но прислушайтесь! Не похоже ли это на Россию, где мы еще совсем недавно доказывали, что отнюдь не все наши друзья — евреи.

История все время задает нам задачи, и мы не имеем права от них уклониться. Если в России живет столько же евреев, сколько в Израиле, и мы пришли в этот мир единственными свидетелями того мира (за железным занавесом), то История не позволит нам все это забыть и стать здесь «такими, как все». Это значит, что Израилу суждено впитать и усвоить все, что было ценного не только в России как таковой, но (и не хочется говорить, но надо!) в шестидесяти годах советского эксперимента, который мы помним каждой косточкой. Это значит также, что мы должны подготовиться к тому, что пара миллионов наших братьев свалится нам на голову, и мы пошлем их на попечение тех самых органов абсорбции, которые все так охотно ругают. Мы должны будем объяснить нашим родственникам, что мы здесь делали, почему некому их принять и обласкать. Что ж, мы скажем, что старались стать похожими на других? А они спросят, — на каких именно других?..

Иногда полезно оглянуться на своих предшественников. Громадная алия из Румынии (более 350 000 человек) разместились в Израиле относительно незаметно, без скандалов и видимых трений политического и культурного характера. Большинство экспертов полагает, что это произошло, во-первых, потому что румынская община умело и энергично поддерживала новых эмигрантов, а во-вторых, еще и потому, что румынские евреи в Румынии не ассимилировались и были близки по своей ментальности к остальной массе израильтян. В качестве противоположного примера плохой абсорбции приводят немецких евреев, которые якобы были сильно ассимилированы в немецкой культуре и потому им пришлось плохо. Однако все мы знаем, что самая плохая абсорбция в действительности была у некоторых азиатских и африканских евреев, и то, что их обычно даже не упоминают в этом контексте, означает, что они и сейчас еще не превратились в интегральную часть общества и существуют как социальная проблема. Попытаемся связать между собой два вопроса, каждый из которых будет несколько неожидан с привычной точки зрения:

1) Объясняются ли трудности абсорбции марокканских, скажем, евреев тем, что они ассимилированы?

2) Почему, собственно, ассимилированному еврею должно быть трудно абсорбироваться в Израиле?

Разумеется, никто не назовет марокканских евреев ассимилированными. Напротив, они воспитаны в специфической еврейской культуре и никогда и не пытались ассимилироваться. Однако предполагается, что их культура (несмотря на ее еврейский характер) несколько архаична и потому-де им трудно приспособиться к современному («западному») характеру государства Израиль. Но если мы такое современное, «западное» государство, то, наверно, лучше всего у нас должны абсорбироваться американцы? Все знают, что это не так: процент реэмиграции среди американской алии самый высокий. Тогда, в качестве объяснения, хватаются за понятие ассимилированности. А что, собственно, так мешает ассимилированному американскому еврею жить среди евреев «настоящих»? Неужели ему не по душе справедливый и неподкупный израильский суд? Или ему

отвратительна мысль, что в Израиле его не так легко выбросят с работы, как в США? Может быть, его раздражает здешнее еврейское сочувствие и готовность помочь? Не раздражало ли немецких евреев трудолюбие окружающих израильтян, их опрятность?

В чем состоит этот пресловутый «еврейский характер» нашего государства, который так «непонятен» и «тяжел» для ассимилированного еврея? А может быть, напротив, нам не все понятно в пресловутом определении «ассимилированного еврея»? Поскольку «ассимилированным» всегда объявлялся в Израиле **городской европейский еврей**, происходящий из наиболее развитых стран, кажется естественным, что именно он должен был бы быть самым подходящим гражданином нашего — тоже ведь объявляемого «современным» — государства.

В чем же дело?

Так же как всякому современному динамичному обществу (каким является и Израиль) трудно абсорбировать группу с консервативной, нетехнологической и далекой от европейских стандартов культурой (скажем, марокканскую алию), так, в равной мере, динамической, высокопрофессиональной группе, сформировавшейся в сфере западной культуры и в условиях жизни больших городов, трудно абсорбироваться в относительно консервативной, непрофессиональной, зачастую недостаточно продвинутой среде, не сознающей к тому же своих собственных долговременных интересов (какой является в основном израильская среда). Следовательно, проблема абсорбции вовсе не сводится только к проблеме «большого» или «меньшего» уровня «еврейского самосознания», а характеризует реальные социологические трудности роста нового общества, далекие от религиозных и моральных оценок.

Израильское представление об ассимилированном еврее сложилось в среде определенной группы восточноевропейских евреев (Польша, Румыния, Венгрия, российская черта оседлости), своеобразная культура которых характеризовала их не только (и не столько) как этническую, но главным образом как социальную группу — низший и средний класс небольших городов, глубокой еврейской провинции. Почти все преуспевшие профессионалы и интеллектуалы, вышедшие из этой группы, немедленно объявлялись «ассимилированными» (и действительно скоро ими становились). В те времена, около ста лет назад, эта группа действительно составляла некую твердыню еврейства, противостоявшую размывающему действию европейской культуры. Но сейчас, когда многое в мире изменилось, какие у нас основания считать, к примеру, марксистов, говорящих на идиш, менее ассимилированными, чем религиозных англоговорящих американцев? Неужели мы должны горячих сионистов, говорящих по-русски, считать менее евреями, чем прожженных нью-йоркских циников, говорящих на иврите? Вопрос теперь состоит не в том, кто «больше ассимилирован?» (во многих отношениях сабры больше «ассимилированы», чем многие американцы), а «среди кого ассимилированы?»

Еврей, пусть даже неполностью ассимилированный среди румынских мужиков, не имеет никаких оснований учить еврейству ньюйоркца, полностью ассимилированного среди бруклинских евреев. По своим профессиональным и духовным интересам я в России едва ли не реже встречался с неевреями, чем в Израиле.

К сожалению, то, что отталкивает от Израиля американского еврея, отталкивает и русского, и всякого другого, если они происходят из больших городов. Это отталкивание носит **социальный** характер, так что трудности абсорбции американских, немецких и русских евреев в культурной области основаны не столько на потере ими «еврейского» духа, сколько на их нежелании признать «еврейским» специфический дух восточноевропейской **провинции**. И культурный конфликт, который они переживают, не есть, конечно, конфликт между еврейской и, соответственно, американской (или какой-нибудь другой) культурой, а конфликт между **провинциальной** и **столичной**, между **консервативной** и **современной** культурами.

Так, скажем, необязательность, безалаберность, ненадежность в бизнесе и нечестность в политике, предпочтение обходных путей прямым и многие другие недостатки, которые так утомляют европейского еврея в Израиле, вовсе не кажутся мне признаками «еврейского духа». Это хорошо известные нам по России черты, и характеризуют они обстановку российского (а также польского, румынского и т. п.) **захолустья**, откуда произошли наши деды, а также деды нынешнего поколения израильтян. Многие из нас (как и некоторые израильтяне) сумели избавиться от этих качеств вследствие жестокой конкурентной борьбы в большой индустрии и науке и отнюдь не хотели бы возвращаться к этим «милым недостаткам».

К сожалению, мы еще не так далеко ушли от этого, и поэтому вернуться к своим **русским** (я подчеркиваю, что это русские, а не еврейские качества) качествам нам куда легче, чем противостоять своей собственной лени, умиротворяющему «ихие тов» и желанию потреблять больше, чем производить. Но если мы хотим действительно что-то принести Израилю, то должны использовать то, в чем мы **продвинулись** по сравнению с нашими дедами. Многие из того, чего не знали наши деды, все еще неизвестно в Израиле. Это проявляется и в экономике, и в политике. Но то, что проявляется и в экономике, и в политике, называется культурой, как бы мы ни избегали этого слова... И если мы действительно хотим быть такими, «как другие», возьмем у румын **лучшее**, что у них есть, — поддержку «своей алии». Кто же, если не мы? А то основное и лучшее, что имеют **русские евреи** в своем активе: своеобразное отношение к труду и квалификации, благоговейное отношение к книге и чтению, предпочтение профессиональных оценок идеологическим, сильное стремление к образованию — достаточно актуально и нужно сегодня едва ли не всем другим евреям в Израиле.

Наши деды действительно утратили свою еврейскую культуру. но не во всех случаях нам следует сожалеть об этом. Они читали и говорили на идиш, а мы только на русском. Но вспомним, **что они говорили**. И что теперь говорим мы. Они говорили на идиш о русской революции, рабочем движении и социализме, читали Маркса и Ленина. А мы по-русски говорим о сионизме, еврейской истории и значении изучения языка иврит, а читаем Тору. Таким образом, наша русская культура послужила нам для возвращения к еврейству, а их еврейская — привела их к духовной ассимиляции и физической гибели. Разумеется, не культура виновата в их судьбе, но отсюда видно, насколько на самом деле живительна всякая **полноценная** культура, русская она или английская. Наша еврейская история такова, что нам дано впитать и усвоить всю человеческую культуру, и, наверно, еврейская культура не будет полной, пока хоть какая-нибудь другая окажется у нее в пренебрежении. А русская близка ей по многим своим истокам...

¹ Импринтинг (биол.) — явление особо сильного запечатлевания младенческим сознанием предъявленных ему образов.

АЛИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ РОССИИ

(Доклад для израильского Центра Абсорбции в Науке, сделанный в марте 1975 г. Впервые опубликован в «Meadstream», 1976.)

Советская интеллигенция — вторая в мире по численности и технической мощи. Евреи составляют очень важную, может быть, сердцевинную ее часть. Процент евреев больше в группах с наиболее высокой квалификацией. Так среди лиц с высшим образованием вообще евреи составляют около 5%. Среди кандидатов наук — евреев 10%, а среди докторов наук в Москве (наивысший уровень) — больше 25%. Их реальное влияние в интеллектуальных кругах еще выше этого численного соотношения, так как многолетний антисемитизм привел к тому, что средняя квалификация специалиста-еврея заметно выше средней квалификации русского, находящегося в том же социальном положении. Поэтому еврей-интеллигент в России представляет собой громадную силу, которая в последние годы начала осознавать самое себя. Широкие массы советских евреев ориентируются на интеллигентскую группу, и их поведение сильно зависит от настроений элиты. Таким образом, от того, насколько правильно мы поймем настроение этой группы и насколько сумеем привлечь их к израильским проблемам, зависит очень многое и в судьбе будущей алии, и в судьбе Израиля.

В СССР около 100.000 научных работников-евреев. Около 30.000 из них имеют степени кандидатов наук и более 5.000 степени докторов. Даже если не учитывать сотни тысяч инженеров и врачей, одни только квалифицированные специалисты, работающие в научных и прикладных институтах, составляют 50.000 (всего евреев с высшим образованием в СССР — 500.000).

Проблему евреев-интеллигентов трудно (практически невозможно) отделить от проблемы интеллигенции в России вообще. Это первое, что надо учесть при обсуждении этого вопроса. Рассматривать движение за выезд в Израиль (которое теперь будет держаться, в основном, на энтузиазме этой группы), как чисто национальное, в традиционном смысле, значило бы принимать желаемое за действительное. Но так как все участники этого движения (почти все) были и останутся евреями, и причины движения в значительной степени традиционно еврейские (в историческом смысле), можно оптимистически относиться к возможности направить это движение в русло еврейских национальных задач. Не нужно однако забывать, что еврейские национальные задачи понимаются в России гораздо более широко, чем это принято в традиционных еврейских кругах, и возможно множество конфликтов типа конфликта Б. Спинозы с Амстердамской общиной, который происходил от аналогичного различия в жизненном опыте.

Попробуем выделить непосредственные причины, влияющие на принятие решения об эмиграции из России, а затем рассмотрим, насколько эти причины побуждают интеллигента приехать именно в Израиль. При этом следует помнить, что эмиграция из СССР — дело настолько трудное и даже опасное, что ни один серьезный человек не предпримет его без серьезного обдумывания и подготовки. Поэтому, так как все-таки речь идет об интеллектуалах, достаточно многие из них продумывают вопрос до конца, и их решение будет связано с причинами более глубокими, чем нижеперечисленные. Однако я вижу свою задачу не в том, чтобы давать моральную оценку поступкам людей, а в том, чтобы в наиболее ярком виде обрисовать фактическую ситуацию, как она видна из Москвы в наши дни.

Психологическая характеристика группы

Так как евреи в СССР не отделены стеной от остальной советской интеллигенции, они в значительной степени разделяют общие для советской интеллигенции предрассудки, и их особенности характеризуют их не столько как евреев, сколько как интеллигентов или даже русских интеллигентов. Но их принципиальное отличие от окружающих состоит в том, какую роль в их реальной жизни играют их идеологические соображения. Только у евреев в СССР (почти только) их взгляды приводят к решительным действиям, и поэтому все реальные движения в России по составу оказываются в сильной мере еврейскими.

Психология советского интеллигента построена без участия религиозных и традиционно национальных моментов и основана на утилитарных и общенаучных идеях. Жизненный опыт трех поколений учит советского интеллигента тому, что его единственная и неотъемлемая ценность (и

одновременно оправдание его существования) есть его профессиональная творческая потенция, которая при существующем в обществе идеологическом вакууме почти отождествляется им с его душевной жизнью. В России разговоры на профессиональные темы увлекают людей в нерабочее время, а перипетии служебной жизни рассматриваются как интимные переживания, от которых зависит настроение и даже здоровье.

Сложился своеобразный культ профессии, религиозная одержимость профессио-нальными интересами, которая заставляет советских интеллигентов не только работать больше обычного, но и придавать непропорционально большое значение профессио-нальным успехам и неудачам и глубоко страдать в случае, когда профессиональные возможности не реализуются. То ощущение осмысленности индивидуальной жизни, которое дается религиозным или просто традиционным воспитанием, достигается советским интеллигентом (и не всяким) лично, не благодаря, а вопреки общей идеологии и, обычно, внутри своей профессии. Таким образом, профессия для него часто не способ заработка, а единственный источник духовной жизни и единственный путь к подлинной культуре.

Насколько это самочувствие близко к религиозному, видно из того поразительного факта, что множество евреев в России становятся неопитами тех религий или философских школ, которые входят в сферу их профессиональных интересов: специалисты по буддизму становятся буддистами, специалисты по русской культуре и иконописи часто становятся православными, а специалисты по экзистенциализму — экзистенциалистами. Физики и математики — строят себе мировоззрения внутри своих наук, а артисты и художники молятся на свое искусство. Поистине «служат дереву и камню», но у всех при этом также «сердце встревоженное», ни на чем не позволяющее успокоиться и требующее дальнейшего духовного развития или хотя бы суррогата — профессиональной занятости.

Поэтому «интересная работа» воспринимается в этих кругах как благо, не зависящее от оплаты, а сам интеллигент чувствует себя хорошо, только когда он уверен, что его работа очень ценится. Часто сами материальные блага, которые в обычном случае зависят не от квалификации, а от оборотистости, для интеллигента в СССР служат лишь показателем того, что «его ценят». Такие утверждения как: «мне дали хорошую квартиру», «я получаю большую зарплату» или «начальник позволяет мне опаздывать и приходить, когда я пожелаю» имеют не только обычный житейский смысл в СССР, но содержат также моральное удовлетворение и означают: «без меня на работе не могут обойтись, и я пользуюсь уважением». Это та компенсация, которую советский человек и особенно советский еврей получает за бесчисленные унижения от власть имущих. Все знают, что больные хотят попасть к врачу-еврею, а при решении сложных технических вопросов еврей-ученые никогда не будут забыты и даже могут рассчитывать на Государственные премии (реже — на административные продвижения). Поэтому сам по себе антисемитизм властей, если он не проникает в профессиональную сферу и евреям не мешают работать в своей области, не вызывает особого ожесточения и не может считаться основной причиной эмиграции.

Следует помнить, что, хотя большинство советских интеллигентов давно не верит в марксизм, они все же верят в наличие некоей «правильной» идеологии и сомневаются лишь в том, какая из идеологий «правильная». Хотя они обладают этническим сознанием, им очень трудно понять, что это сознание может быть связано с идеологией, ибо тогда вынуждены были бы признать, что истина, быть может, не универсальна, а различна для евреев и, скажем, для русских. Нужно сказать, что русские коллеги в этом смысле (в смысле роста национального сознания) значительно опережают евреев и воспринимают интернационализм как еврейскую идеологию. Так как многие евреи верят в единственную истину, взрыв национализма во всем мире они воспринимают как обычное общее увеличение дикости, подобно другим движениям XX века: «левые», «хиппи», «троцкизм», «маоизм» и прочее.

От этого поверхностного интернационализма до универсализма библейского путь еще настолько далекий, что рассматривать их взаимосвязь здесь не стоит.

Наряду с этой чертой, благодаря многолетнему антисемитизму в России, у евреев есть также специфически рабочая хватка и привычка к производительному труду. Евреи в России привыкли, что они должны работать больше и лучше других и проявлять свойственный им динамизм и предприимчивость всюду. В этом отношении русские еврей-интеллигенты больше напоминают сейчас американских евреев, чем евреев России, какими они были 50 лет назад. Средний балл для поступления еврея-школьника в институт должен быть заметно выше среднего, уровень студента должен быть выдающимся, чтобы он мог рассчитывать на приличную работу, а после окончания никто не поможет ему защитить диссертацию, если он не будет работать по 12-14 часов в сутки и проявлять заметные способности. Поэтому русские евреи тратят большие усилия, чтобы дать наилучшее образование своим детям и осторожно, но упорно помогают в этом друг другу. Есть у них также склонность сочувствовать слабым вообще, и поэтому их естественное сочувствие Израилю ослабевает всякий раз, как им кажется, что Израиль как государство или евреи как народ проявляют высокомерие сильного по отношению к какому-нибудь слабому (это парадоксально, но в России особенно слабым, и особенно часто, выглядит как раз русский народ).

Причины, побуждающие интеллигенцию к эмиграции

1) Профессиональная неудовлетворенность, связанная с уверенностью, что результаты труда будут использованы в СССР наихудшим образом, технически нерационально и идеологически неприемлемо, и что инициативе профессионала во всех случаях будет противопоставлена

бюрократическая рутина, партийная идеология и национальное недоброжелательство. Во многих случаях эти представления несколько утрированы. По контрасту с советской действительностью существует миф о Западе (особенно США), как о мире, где господствует технически обоснованное принятие решений, отсутствует бюрократизм и наблюдается безразличие к идеологии. Если сопоставить все это с тем, что говорилось выше о психологии интеллектуалов в СССР, станет понятно, что профессиональная неудовлетворенность этой группы воспринимается ею не как житейское обстоятельство, а как личная катастрофа для каждого отдельного человека и многозначительная характеристика нерационально построенного общества. Из такого общества необходимо уехать, так как «мы больше тут не нужны».

2) Идеологическая несовместимость, связанная с политическим недоверием к любым шагам правительства и отвращением к государственной идеологии СССР во всех ее формах (от русского патриотизма до философского материализма). Эта особенность породила в интеллигентской среде так называемое «демократическое» движение, которое оказалось в такой подавляющей степени состоящим из евреев, что власти не замедлили этим воспользоваться и обвинили их в «сионизме». В дальнейшем подавляющая часть этих людей установила контакты с единичными оставшимися в СССР сионистами и положила основание алии из России. Однако было бы большой ошибкой буквально понимать термин «сионист» в применении к этой группе. Большая часть сионистских документов в СССР вообще неизвестна, и о сионизме в России судят по Т. Герцлю, А. Эйнштейну и М. Буберу, а не по действиям и словам вождей реальных политических партий.

Психологический стереотип, приведший к идее эмиграции, здесь был тот же, что и выше: «Демократическое движение нужно только одним евреям, народ нас не понимает, мы здесь **не нужны**, значит нам нужно уехать в Израиль, который в нас нуждается. Там нас ждут, там мы нужны, там — наше место».

3) Неуверенность в будущем, связанная с заботой об образовании детей. Здесь особенно заметен государственный антисемитизм, хотя некоторые трудности при поступлении в институты испытывают и другие дети из интеллигентных семей. Однако в еврейских семьях особенно остро переживается приближение общего падения влияния евреев в интеллигентских кругах. Кажется очевидным, что в поколении наших детей (студентов) евреи полностью потеряют свои позиции в большинстве интеллигентских профессий, а при наличии сильного государственного и народного антисемитизма это может привести к катастрофическим последствиям для евреев не только как социальной группы, но как для людей, чья безопасность в России держится на очень шатких основаниях.

И здесь тоже евреи в России формулируют, что мы уже **не так нужны**, как раньше, и это может вызвать искушение с нами расправиться.

4) Конкуренция русской интеллигенции, связанная с общим ростом культурного уровня русского народа. Разложение официальной интернационалистической идеологии и многолетняя антисемитская пропаганда помогли сложиться в России русской националистической идеологии, которая оказывается в значительной мере направленной против евреев. Если пять лет назад признаться в антисемитизме в интеллигентской среде значило исключить себя из общества порядочных людей, теперь это не так или не совсем так. Достаточно высказать в общих терминах сочувствие Израилю, чтобы после этого можно было безнаказанно обливать грязью евреев в России и высказываться самым наглым образом о их порочных свойствах вообще и их вредоносной роли в русской культуре в частности. Это особенно близко касается гуманитарной интеллигенции, но чувствуется даже среди математиков и физиков. Здесь интеллигенты также ясно ощущают, что они «больше **не нужны** России...»

Таким образом, общие причины эмиграции можно было бы подытожить так: теряется ощущение **нужности** в этой стране и нарастает ощущение близости **катастрофы** (специфически еврейской или общероссийской — не ясно).

Я сознательно не назвал здесь такую причину для эмиграции, как желание жить **в своей стране и строить по-своему свою жизнь**, так как подавляющее число русских евреев (даже когда они прямо декларируют это желание) **не отдают себе отчета в том, что это значит**. Заявления о таком желании возникают только после того, как решение об эмиграции уже принято, а большое число разочарований показывает, что это желание было непродуманным... Внутренне, что бы они ни говорили, советские евреи ориентированы на исход из одного общества, «в котором они не нужны» и которое они сами отвергли, — **в другое, в котором они «нужны»** и которое предполагается динамичным, культурным и лишенным пороков советского общества. В частности, в Израиле, конечно, всех их сумеют использовать наилучшим образом, а такого беспорядка, коррупции и примата политических соображений во всех вопросах, как в России, они никогда больше не увидят...

Мысль о том, что они сами суть самоцель, и общество будет таким, какое они построят (точнее, смогут построить) **для себя и по своему подобию**, не знакома подавляющему большинству русских евреев, включая и тех, которые громко заявляют о своем желании строить. Русские евреи ориентированы на **приспособление к имеющемуся обществу**, а не на создание своего. Нужно сказать, что в какой-то степени такая их ориентация определяется теми начальными условиями, в которые они попадают по приезду в страну, и, может быть, они правы в том, что израильское общество уже сложилось в такой степени, что им остается только **приспособиться или уехать**.

Об этом я лично судить не могу, но уже три года, во многих письмах из Израиля в Москву, присутствовала именно эта мысль. Когда я говорю о строительстве общества, я имею в виду не его материальную базу, а принципы взаимоотношений и шкалу ценностей. В обычных декларациях, призывающих строить **свою** страну, русские евреи имеют в виду материальное строительство, предполагая, что **им скажут, что строить**, так как в еврейской стране уж наверное не дураки и все делают, как надо, русского разгильдяйства там нет.

Посмотрим, в какой степени разрешаются проблемы русского еврея-интеллигента при переезде в Израиль и почему он может захотеть уехать в Штаты.

Плюсы и минусы

1) Решительно никто в Израиле не обещает русским олим лучшие профессиональные условия, чем в России. Напротив, в Россию отправлено много писем с жалобами на техническую нерациональность, бюрократическую рутину и перевес партийной идеологии над деловыми соображениями — все то, что побуждало к эмиграции из СССР. Вместо национального недоброжелательства многие столкнулись с недоброжелательностью старожилов, что для них гораздо хуже, так как они при этом лишаются последних иллюзий по поводу братства всех евреев. Я уже говорил о профессиональном фетишизме советских евреев, который заставляет рассматривать всякое письмо из Израиля, в котором повествуется о плохом положении заведомо хорошего специалиста, как документ, свидетельствующий о неудовлетворительном состоянии израильского общества в целом.

Так как миф о рациональном Западе остается в сознании людей, многие полагают, что в США ситуация намного лучше. Для человека, воспитанного в сверхдержаве, масштабы США и разнообразие укладов представляются очень привлекательными, а проблема английского языка кажется более легкой, чем иврит. Равнодушие общественности в США воспринимается им естественно и, променяв одну диаспору на другую, он избегает трагедии крушения идеалов, которая возможна в Израиле.

Однако есть также и положительные моменты в этом пункте. Так как оценки профессиональной компетентности в Израиле довольно объективны, многие чувствуют себя удовлетворенными даже когда их относительное положение по сравнению с СССР несколько ухудшается, если видят обоснованность такого ухудшения. Многие высказывают удовлетворение по поводу того, что их труд идет на пользу Израилю и даже, если это происходит не наилучшим образом, все же у них нет ощущения, что кто-то злонамеренный и чуждый пользуется результатами их труда. Израиль дает им возможность считать, что их **труд кому-то и для чего-то нужен**, чего не было бы в США.

2) Недоверие советских интеллигентов к советской идеологии отзывается на их отношении к Израилю как «социалистическому государству». Трудно поверить, что те же самые слова, что десятилетиями означали порабощение, произвол и безответственность, растрату народного достояния и пренебрежение общественным мнением, теперь будут означать (в Израиле) совсем другое. Никто в России не верит, что «социализм» может существовать без ограничения прав личности и не приведет в конце концов к прямой диктатуре партии. Слово «сионист» в России значит нечто противоположное слову «марксист». Вождей политических партий в Израиле часто подозревают в тайных просоветских симпатиях и даже иногда в прямом сговоре с Москвой. Оплотом «западного мира» советские интеллигенты считают США, и это внушает им иллюзию, что, быть может, в США они больше «свои», чем в Израиле. Эта иллюзия теперь в значительной степени подорвана всеобщим безразличием к советским интеллигентам-демократам в США, но все же что-то от нее остается и поныне.

Несмотря на то, что многие письма из Израиля как будто подтверждают подозрения «о слишком большой роли социализма» в этом обществе и упорно говорят об олигархии партий, все же для внимательного читателя заметно, что по крайней мере пока еще далеко до ограничений свободы, и демократия более фундаментальный признак израильской жизни, чем социализм, хотя и этот, последний, совсем не похож на советский. Каждый шаг навстречу русской алии со стороны правительственных кругов встречается интеллектуалами с таким восторгом, что, очевидно, их способность верить и склонность к сотрудничеству еще не истощились. Они очень ценят возможность быть принятыми как «свои». Следующей важной ступенью для них было бы ощущение, что они нужны в Израиле. Этого пока нет, несмотря на соответствующие заявления общего характера со стороны политических деятелей. Гораздо более восторженно, чем заявления политиков, советские профессионалы встретили бы усилия менеджеров, направленные на рациональную эксплуатацию их интеллектуальных и технических возможностей. Будучи воспитаны в условиях тоталитарного режима, советские люди неспособны (по крайней мере, немедленно) сами разобраться в конъюнктуре и сделать свой труд **производительным** в израильском обществе. Однако, именно **это является основным пунктом** и определяет все основные вопросы.

3) Неуверенность в будущем детей, гнавшая евреев из России, в какой-то степени остается в Израиле. Здесь присутствуют два момента: неуверенность какой-то части потенциальных репатриантов в способности израильского общества решить стоящие перед ним внешние и внутренние задачи (эта неуверенность подтверждается оппозиционной прессой) и слухи об особой «израильской ментальности», которая во многом напоминает ментальность коренных жителей других (и особенно азиатских) стран. Первый момент при некоторой слабости национального чувства естественно приводит к ориентации на «более прочные и стабильные» англоязычные страны, и

этому ничего нельзя противопоставить, кроме собственной веры и примера выдающихся людей. Второй момент мне кажется гораздо более серьезным и требующим отдельного рассмотрения.

Когда родители покидают Россию, чтобы обеспечить будущее детей, они исходят из того, что у них с детьми не только генетическая, но и психологическая и идеологическая общность, которая заставляет их ориентироваться на одни и те же ценности. Советские люди обычно выражают это стремление в форме утверждения, что они хотят, «чтобы их дети оставались евреями». Если, однако, определение еврея в Израиле оказывается в значительной степени другим, чем в России, они могут быть весьма сильно разочарованы. Это разочарование может коснуться отношения детей к учебе, отношения к труду и отношения к различным психологическим тонкостям, которое объединяется в понятие «идишкайт» или «а идише нешуме». Так как эти моменты в сознании сложились в диаспоре, родители могут бояться исчезновения этих элементов в Израиле, тем более, что соответствующие слухи (и соответствующие письма) уже есть. Немаловажным фактором, способствующим ощущению опасности психологического разрыва между родителями и детьми в Израиле, является отсутствие заботы о создании преемственности, хотя бы в знании русского языка, так что родители, приехавшие с малолетними детьми, могут быть уверены, что через несколько лет их дети перестанут их понимать окончательно, а будущая алия (через 10 лет) встретит такой же уровень непонимания, как и та, о которой идет речь сейчас. Дети, родившиеся в Израиле, совсем не имеют шансов быть похожими на своих родителей. Между тем, это не совсем то, к чему могут стремиться люди в диаспоре (если у них нет комплекса неполноценности).

У русской алии в этом отношении самочувствие такое же как у американской (отсутствие комплекса неполноценности вследствие отсутствия настоящего угнетения и даже дискриминации), но несравнимо меньшие технические возможности вследствие отсутствия денег и поддержки своей общины из-за рубежа. Разрыв репатриантов со страной исхода обрекает их на более скромное положение в израильском обществе, и вместо требований они вынуждены выдвигать только просьбы, не будучи уверены в их исполнимости. Этот фактор также может влиять на решение родителей эмигрировать в США, а не в Израиль.

В целом, однако, настроение русской алии в этом пункте благоприятно Израилю, и большинство интеллигентов уверено, что именно в Израиле их детям будет лучше всего. Это настроение легко передается детям и они, действительно, в большинстве оказываются положительным фактором при этом выборе. Однако вышеописанный психологический механизм отталкивания существует и, если его игнорировать, это может привести в будущем к заметному снижению алии.

4) Конкуренция со стороны русской интеллигенции наиболее заметна в гуманитарной среде, которая связана с технической и научной прочными идейными, дружескими и родственными связями. В то время как ситуация для технической интеллигенции в Израиле относительно благоприятна, для гуманитарной она неудовлетворительна, причем здесь опять психологические условия важнее материальных. Одна из основных черт творческой жизнеспособной части советской интеллигенции — **примат профессиональных критериев** и соображений перед всякого рода **идеологическими и пропагандистскими** оценками. В то время как технической интеллигенции почти не приходится сталкиваться с идеологическими соображениями чиновников, ведающих трудоустройством и субсидиями, гуманитариям часто приходится выслушивать политграмоту от людей, находящихся на более низком культурном уровне, чем они сами. Это вызывает у них реминисценции советской жизни, цензуры и т. п., что самым отрицательным образом сказывается на их самочувствии и оценке политической ситуации в Израиле. Политический опыт русских евреев таков, что всякий избыток идеологии они воспринимают как непосредственную опасность культуре вообще. К сожалению, уже сейчас больше чем нужно музыкантов, киношников и журналистов покинуло Израиль. Техническая интеллигенция в Израиле и СССР гораздо сильнее связана с этой группой, чем это может казаться, исходя из общих соображений. Настроение этих беглецов самым непосредственным образом сказывается на настроении евреев в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве.

Все же пока достаточно интеллигентов в Израиле, которые высоко оценивают свободу, как таковую, и свой, не всегда удачный, опыт рассматривают, как предвари-тельный. Однако в своем стремлении что-то дать израильскому обществу (хотя бы пока и на русском языке) они сталкиваются с низким уровнем среднего израильянина. В СССР они привыкли ориентироваться на интеллигентного потребителя искусства, так как советская интеллигенция, конечно, более многочисленна (даже если считать одних евреев).

Подытоживая этот раздел, я хочу обратить внимание на то, что израильское общество имеет, в принципе, все необходимое для того, чтобы остаться привлекательной целью для интеллигентов в России. Оно в силах показать русским евреям, что они желательны в Израиле, что они — «свои» (а такое общество единственное в мире). Ни США, ни теперь уже СССР не свои для советских интеллигентов. Они превратились в эмигрантов, еще не покинув СССР. Израильское общество, однако, производит на многих вновь прибывших впечатление полностью сложившегося и, таким образом, не нуждающегося в людях с собственной психологией и идеологией. Если советские интеллигенты не почувствуют, что они «нужны» Израилю не **как солдаты по счету, а как личности**, несущие определенный уровень и определенные претензии по отношению к обществу, алия прекратится, не успев начаться по-настоящему. Нужными Израилю советские евреи ощутят себя только в том случае, если их труд будет **производительно использован**. Я убежден, что это возможно, если отнестись к этой задаче как важнейшей для алии.

Что делать, а чего лучше не делать

1) Профессиональная удовлетворенность советских специалистов в Израиле не есть нечто, ценное только для этих специалистов и несущественное для израильского общества самого по себе. Это есть мера способности этого общества совершить техническую революцию и поднять производительность труда. Избыток квалифицированных специалистов существует только в странах с низкой производительностью (Индия, Египет) и низким уровнем культуры. Так же как столкновение с новым миром есть испытание для советской интеллигенции, столкновение с новой группой олим есть испытание для израильского общества. Главное, что поражает приезжающих интеллигентов — это то, что в стране не создаются новые структуры, и, таким образом, не увеличивается количество рабочих мест. Усилия по трудоустройству академаим (которые действительно довольно эффективны) совершаются таким образом, что уплотняется существующая академическая структура и русские олим оказываются нагрузкой и потенциальными конкурентами для ватиким. Эта ситуация — наихудшее из возможных решений вопроса, так как создает условия не только для плохого самочувствия олим, но и для ухудшения их отношений с ватиким, то есть для постепенного их отхода от идеи близости Израилю и его задачам и формирования комплекса «йериды».

При том, что денег в государстве явно не хватает, расходы Сохнута на трудоустройство производят впечатление разбазаривания средств, ибо при этом совершенно не предусматриваются условия возможной окупаемости. Я понимаю, что это связано с тем, что в Израиле вообще наука пока не окупается, однако, большинство олим приехало с убеждением, что они способны оправдать свои расходы, и в этом имеет смысл им поверить. Масштаб расходов на абсорбцию ученых не соответствует реальным потребностям научной работы и потому приводит к безвозвратному расходованию средств на нужды предприимчивых руководителей, использующих олим в течение положенных двух лет и выбрасывающих их по истечении этого срока без пользы для олим и для Израиля. Использовать олим и деньги, которые предназначены на их абсорбцию, **индивидуально — наименее рационально** и с технической, и с психологической точки зрения. Олим, не чувствуя себя в непривычной среде свободно, не реализуют своих творческих возможностей, а деньги, разбитые на малые суммы, совершенно не могут служить тем начальным капиталом, который может принести доход.

Технически рациональный путь абсорбции — создание коллективов олим, которые, используя сравнительно большие деньги для единой цели и чувствуя себя в привычной среде без языковых и психологических трудностей, могут экономически эффективно выполнять различные прикладные исследования и разработки, как для Израиля, так и на экспорт, в зависимости от спроса. Такие коллективы имели бы также такие преимущества, что в случае удачи обеспечивали бы новые рабочие места без всякой конкуренции со старожилами, а известный тормоз для повышения производительности труда — профсоюзная защита — не распространяется на олим по крайней мере в течение первых двух лет. Разумеется, такие коллективы разумно делать смешанными и не полностью оторванными от академических учреждений, а лишь частично, в форме соподчинения. Мне кажется, что чрезмерная детализация таких проектов здесь может скорее повредить, чем прояснить дело, так как проекты должны быть конкретны и связаны с определенными людьми, которые возьмут на себя ответственность за выполнение.

2) Несмотря на общее политическое раздражение и озлобленность по отношению к «социализму», которые происходят от прежнего жизненного опыта, русские интеллек-туалы довольно наивны в политике и склонны передоверить ее кому-нибудь другому, лишь бы у них были основания этому другому доверять. У большинства из них нет политических амбиций, и они не станут добиваться политических целей, если у них не создается впечатление, что именно политические факторы мешают их абсорбции. Однако такое впечатление под влиянием ли реальных факторов или интерпретации оппозиционной прессы (я лично не могу пока судить о серьезности положения в этой области) складывается у многих. Тот факт, что многие ответственные посты, связанные с абсорбцией, доверены представителям партий, в прошлом идеализировавшим советский строй, Ленина и Сталина, вызывает естественную настороженность советских интеллектуалов.

Один из эффективных способов повысить доверие советских олим к руководящим кругам Израиля состоит в том, чтобы как можно ближе допустить их к рычагам управления их собственными делами. В министерстве абсорбции, комиссии по трудоустройству, Сохнуте и так далее, должны присутствовать консультанты из русских олим, чья политическая и материальная незаинтересованность (опирающаяся на их собственное прочное положение в израильском обществе и авторитет среди олим) была бы для всех очевидна. Эти консультанты могли бы объективно оценивать ценность прилагаемых проектов и компетентность соответствующих людей (что гораздо важнее).

Второй момент, существенный в этом контексте, состоит в том, что, приезжая в Израиль, советский человек впервые знакомится не только с Израилем, но и со свободным миром вообще. Это очень трудная встреча, и большая часть трудностей приписывается Израилю, в то время как эти трудности принадлежат всему свободному миру. Здесь первостепенную роль могут сыграть американские олим. Наряду со многими общими с русскими чертами они обладают специфическим опытом жизни в условиях демократии и рыночного хозяйства. Именно они со своим знанием конъюнктуры и деловой хваткой, могли бы помочь коллективам олим, о которых говорилось выше, стать эффективными в экономическом положении, что было бы важнее всякой идеологии и

оздоровило бы обстановку. Эту задачу я считаю настолько важной, что даже специально порекомендовал бы нескольким бизнесменам израильского или американского происхождения, которых волнуют сионистские задачи, взяться за финансовую сторону вопроса о эксплуатации научной квалификации русских олим, так как психологический эффект от существования одного самоокупающегося коллектива олим-академаим в Израиле был бы неизмеримо выше всех успехов индивидуальной абсорбции вместе взятых. Этот прецедент послужил бы как самим олим и государственным и сохнутовским чиновникам примером.

3) Необходимо проявить заботу о взаимопонимании (сохранении взаимопонимания) между родителями и детьми в семье олим. Родители должны иметь возможность отдать своих детей в школы, где преподается (как один из иностранных) русский язык. Это не только даст им дополнительный культурный капитал, но и создаст дополнительные возможности для трудоустройства русских олим. Никаких дополнительных расходов для этого не нужно. Нужно только увеличить число преподавателей иностранных языков не за счет французского или английского, а за счет преподавателей русского языка в будущем.

Эта же необходимость подсказывает, что гораздо разумнее поселять и трудоустраивать русских олим большими группами, чем в одиночку. Соображения лучшей интеграции говорят не в пользу одиночного расселения, ибо единственное, что такое поселение вырабатывает — это комплекс неполноценности у оле. Такой комплекс не способствует лучшей абсорбции, а препятствует ей. В большой группе, среди процветающих и самоуверенных родителей, дети психологически лучше приспособлены к абсорбции, а родители не ожидают конфликта с детьми. Кроме того, сплоченная община чувствует себя в обществе гораздо сильнее, чем одиночка. Разобщенность русских олим уже привела многих к ощущению, что израильское общество консервативно и не способно реагировать на новую ситуацию или идею, и заставила их покинуть Израиль для западных стран. При наличии эффективных рычагов давления, которые в демократическом обществе возникают только у коллективов, это умонастроение было бы значительно слабее.

4) Хотя довольно очевидна либеральность финансирующих организаций по отношению к русской прессе и другим видам гуманитарной деятельности, все же заметно, что на финансовую политику этих организаций сильное влияние оказывает их идеология. В отношении прессы это приводит к тому, что она полностью неэффективна. Это проявляется не только в низком уровне, который заставляет профессионалов ориентироваться на более оппозиционные, а следовательно более свободные издания, но и в том, что никто не верит тому, что печатается. Советский читатель имеет колоссальный опыт недоверия к официальной печати, и всякий оттенок партийности (причем только по отношению к правительственной линии) в читаемом немедленно включает у него защитные механизмы. Поэтому можно смело утверждать, что большая часть денег, которая расходуется на пропаганду среди русских евреев, пропадает впустую. Между тем советские евреи страшно нуждаются в двух видах таких расходов:

а) Они нуждаются в положительной информации об израильском обществе, в котором они чувствуют себя детьми, заблудившимися в лесу. Эта информация об общественном устройстве, правах и обязанностях, возможностях и запретах, политических и идеологических течениях, психологических особенностях, культурных и философских проблемах, возникающих и актуальных в Израиле, необходима им на русском языке и без видимой идеологической оценки.

б) Они нуждаются в средствах для осознания себя, своих особенностей и специфических потребностей. Таким средством может стать только русскоязычная пресса, внутренне и внешне независимая от существующего истеблишмента. Особенность русской алии состоит в том, что процесс создания своего мировоззрения происходит у нас не до принятия решения и начала действий, а в процессе напряженной борьбы, одновременно. Это создает опасную неустойчивость в среде олим и это же может служить источником надежд для будущего сионизма, ибо агностическая позиция русских олим плодотворна по отношению к меняющейся действительности. Советские евреи не могут иметь своих средств для создания своей прессы, ни массового читателя в стране исхода, как американские. Поэтому они нуждаются в прямой необусловленной помощи.

Среди прочих видов культурной деятельности я хотел бы выделить кино, как потенциально наиболее влиятельное и экономически наиболее трудное. Кино — единственный вид культурной продукции, который, в принципе, мог бы превратиться в предмет экспорта и хорошо окупаться. В России специальность кинорежиссера — типично еврейская профессия, а давление русского национализма делает любого режиссера-еврея потенциальным эмигрантом. Однако, условия профессиональной жизни киношников в Израиле совершенно неудовлетворительны. Их трудности совершенно аналогичны трудностям ученых, так как современный кинематограф требует громадных начальных вложений при проблематичном сбыте. Существующая практика мелких инвестиций порочна, так как, кроме потери денег, сопровождается потерей репутации и гибелью надежд. Выходом из этой ситуации могло бы оказаться создание коллектива аналогично научному и финансирование его при одновременной поддержке американской еврейской общины, которая могла бы взять на себя рекламу и обеспечение зрительского спроса.

В итоге этого раздела я хотел бы подчеркнуть, что любая деятельность, направленная на **использование и увеличение эффективности труда** русских олим, будет встречена ими положительно и с энтузиазмом, а также хорошо отзовется на будущем алии, но любые попытки идеологического регламентирования или чего-либо, имеющего оттенок такого регламентирования, будут встречены в штыки и вызовут увеличение бегства в другие страны из Израиля и из Москвы.

Заключение

Я надеюсь, что израильское общество не сложилось еще настолько, чтобы не быть способным принять и стать родиной для группы с высокой технической и бытовой культурой, какой являются русские интеллектуалы. Я уверен также, что эта группа несет с собой технические и гуманитарные идеи, необходимые израильскому обществу в его трудном и опасном положении. Я думаю, что сейчас, и особенно в будущем, существование Израиля зависит от его способности собрать все лучшее, что есть в русском еврействе и усвоить специфически европейский взгляд на вещи, требующий профессионального подхода к делам, от которых зависит будущее.

ДОВОЛЬНО И ЭТОГО

(Впервые опубликовано в «22». №11,1980)

Удивительное свидетельство человеческой дальновидности заключено в обычных правилах земледелия. Люди бросают в землю зерна, которые они могли бы немедленно съесть, и потом чуть ли не полгода должны ждать и трудиться, ничего не получая. Да, будь моя воля, я бы на такой риск ни за что не пошел! Побросать на верную гибель ценный продукт (еще неизвестно, взойдет ли!), которого всегда нехватка, на разграбление птицам и мышам, на произвол переменчивой погоды, на риск, что кто-нибудь придет и отнимет, или сожжет... Да это безумие какое-то!

Так редко встречалась мне такая дальновидность и доверие к будущему среди моих сотоварищей, что трудно мне представить и наших предков иными. И вот, хочется спросить: когда Иисус Навин и Кaleb, единственные из двенадцати представителей колен Израилевых, посланных разведать Обетованную Землю, настаивали на немедленном вторжении, понимали ли они, что это займет у их потомков триста лет? То есть, когда они убеждали окружающих: «Пойдем и возьмем эту землю!», понимали ли они, что их дети, внуки и правнуки все еще будут воевать за эту землю, и не всегда с успехом? Рядом с этими столетиями опустошительной войны даже сорок лет в пустыне не кажутся таким уж большим сроком. Во всяком случае для Навина и Калеба это время прошло с пользой. Они тренировались для главного дела своей жизни (вторжения) и впереди ожидали для себя награды. Конечно, они проявили бесстрашие, не испугавшись в первый момент, и героизм, терпеливо прождав сорок лет и не отказавшись от первоначального замысла. Но и они по-человечески ожидали своей награды и получили ее. Ну, а шестьсот тысяч мужей, вышедших с ними из Египта? Разве они вышли для того, чтобы умереть в пустыне? Нет, конечно! Они вышли для лучшего. Каждый из них понимал это лучшее по-своему, но каждый непременно хотел получить сполна и при жизни. Я уверен, что, когда Моисей с Аароном прилюдно требовали от фараона отпустить народ на три дня для богослужения, не один фараон был обманут. Наверняка и среди шестисот тысяч были многие, кто поверил, что вознесут они молитвы Господу, на худой конец какой-то частью скота пожертвуют, и станет им окончательно хорошо. Лучше, чем в Египте. В три дня все кончится, и они увидят небо в алмазах. И чудеса, которым они были свидетелями, как бы подтверждали это. Я не удивляюсь, что они возроптали, когда убедились, что ничего этого не будет. Они увидели себя приговоренными к бессрочной свободе посреди пустыни. Было бы воистину удивительно, если бы они приняли свою трагическую судьбу как должное.

Так случилось у нас, и так же было у отцов-основателей этого государства, что Исход не был надолго отделен для нас от Вторжения, и слова о сорока годах в пустыне мы употребляем исключительно в переносном смысле. Это отсутствие промежутка между чудесным исходом и вторжением в Обещанную Землю дает себя знать. Ибо мы ожидаем и других чудес. Если уж все так дивно сложилось, что и в Сибири нас не заморили (а могли ведь!), и в лагерях перемещенных лиц мы свою молодость не тратили (а чем мы заслужили?), и воевать не многим из нас пришлось (а кто повоевал и в лагере посидел, или в Сибири пожил, у тех требования гораздо скромнее), то почему бы и Израилю не быть на том же чудесном уровне? Свалки все, например, к нашему приезду уже могли бы быть расчищены. Международные аферисты, которые так украшают наш народ в диаспоре, здесь, на исторической родине, полюбили бы ближнего, как самих себя. Журналисты, перебравшись из негостеприимных стран, где приходилось им лгать для защиты живота своего, в стране молока и меда писали бы правду-истину. Никто не обидел бы вдову, сироту или оле хадаша, как он есть пришелец, ибо пришельцами все мы были в земле египетской. Львы наши, вожди и лидеры то есть, возлегли бы рядом с ягнятами (я совсем не их секретарш имею в виду...). Вот примерно такое положение в Земле Обетованной соответствовало бы остальным чудесам, коим были мы подлинными свидетели...

Я совсем не шучу, а хочу подчеркнуть полное единство наше с израильскими старожилками и даже сабрами, которые, как и мы, ожидали наступления Царства Справедливости немедленно вслед за войной за Независимость или, в крайнем случае, после Шестидневной войны. Они, как и мы, не прошли многолетней школы политических компромиссов и готовы не к Истории, которая тянется столетиями, а к Чудесной Развязке, за которой начинается безоблачная жизнь. А если нет? Ах, нет! Тогда — все!..? Такое детское нетерпение свойственно и левым, и правым. Будто и те, и другие поклялись выполнить заветы пророков именно в нашем поколении. «Не поднимет народ на народ меча, и не будут учиться воевать» — и вот, пожалуйста, «Мир сейчас» (Шалом ахшав)! «И приведет тебя Господь в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение», — и вот вам

«Израиль в исторических границах» (Израиль шлейма)! «А ты обратишься и будешь слушать глас Господа и исполнять все заповеди Его» — вот и программа Агудат Исраэль! Будто каждое из движений имеет патент от Господа, каковы именно сегодня пути Его. Будто вожди партий ожидают Мессию с минуты на минуту и спешат осуществить программу в том ее полном объеме, который приурочивается Библией только к концу света.

Может быть и верно, что конец света приближается. Но он может приближаться еще тысячу лет. Ощущение, что вот-вот, завтра, послезавтра наступят окончательные времена и соответствующие им окончательные решения, охватывало людей уже множество раз, но История все еще не кончилась. Когда был распят Иисус из Назарета, его ученики со дня на день ожидали второго пришествия и конца света. Когда осажденные в Иерусалиме зилоты резали друг друга, они ничего не жалели, ибо конец света казался им почти неминуемым. Христианские народы ожидали конца света каждое столетие и почти каждое столетие устраивали такие кровавые гекатомбы, что можно считать испробованными все возможные средства ускорения этого события. Крестоносцы завоевали Гроб Господень, а потом утратили его, но конец света все не наступал. Саббатай Цви объявил себя мессией, и многие евреи поверили ему, но Царство Справедливости не наступило. Конец XVII века в России был так ужасен, что люди почти не сомневались в близости конца света. Русские священники, столкнувшись с необходимостью разработать азбуку для вотяков (коми), всерьез обсуждали, стоит ли учить их грамоте, учитывая, что все равно конец света грянет с минуты на минуту, так что, может, лучше крестить их силой, чтобы спасти перед Страшным Судом и все. А то ведь не успеть! Перед наступлением двадцатого века философ В. Соловьев назначил конец света на 2000 год и предначертал евреям ключевую роль в событиях, предшествующих наступлению Царства Божьего. И разве не звучит тот же мотив в знакомом припеве: «Это будет последний и решительный бой!»?

Боев было много... Какой из них был последним? Когда будет последний? Будет ли? Не надо загадывать. Довольно и того, что уже было, чтобы понять, что брошенное зерно когда-нибудь прорастет, что урожай в конце концов будет. Но прошлого довольно также, чтобы понять, что ускорить его приход мы не можем. Нельзя же в самом деле всю жизнь пребывать в детском возрасте, в котором и вдохновение, все окрашивающее в розовый цвет, и разочарование, все окрашивающее в черный, равно происходят не от реальности, которая ни черна, ни розова, а от физиологического состояния неопределенного экстремизма, всегда толкающего на крайности...

Ну вот, не произошло во время войны Йом-Кипур такого яркого чуда, как раньше. Просто Израиль обыкновенно выиграл очередную войну (более точно, не дали американцы превратить и эту войну в чудо, а то бы разгромили Третью египетскую армию и захватили Каир) — и все общество в глубокой депрессии. Подумать только! Мы оказались чуть ли не такими же обыкновенными, как и другие народы. Наши генералы совершали ошибки! Наша разведка чего-то не знала! Наши министры не все предусмотрели! У некоторых дошло даже до того, что амбиция у них перевесила деловые соображения! Неужто это у нас могло произойти? Конечно, это значит, что мы живем в глубоко и безнадежно больном обществе, ибо это прямо-таки напоминает все остальные человеческие общества. И, значит, Царство Справедливости еще далеко от нас. Так же далеко, как и от всех других. То есть мы, может быть, даже его не увидим? Зачем же мы старались? Для чего мучились?

Яркие левые журналисты направо и налево разоблачают израильское лицемерие, антидемократизм и коррупцию. В общем, ужасная правда сводится к тому, что не все счастливы в этой стране. Богатым в ней лучше живется, чем бедным. Здоровым лучше, чем больным. Люди, оказывается, эгоистичны (неужели это возможно в Израиле?). Своя рубашка, оказывается, для многих все еще ближе к телу, несмотря на хамсин. Но я хочу сказать, что в Библии даже среди самых возвышенных пророчеств реализм текста не опускается до уровня этой апокалиптической журналистики. Мы можем прочесть, например, такое: «Дай ему взаймы... Ибо нищие всегда будут среди земли твоей». Это — несмотря на все чудеса и прелести Земли Обетованной. Ну могут ли наши взрослые дети согласиться на такой оппортунизм?!

Сильные личности из правого крыла одним только могучим духом, без всякого взвешивания реальных сил и обстоятельств, хотят приблизить пришествие Мессии, овладев землей и устранив арабов своей решимостью. Они выполняют программу В. Соловьева и, кажется, стремятся уложиться в назначенный им срок. Самое смешное, что им это в основном удается, потому что этот мир аморфен и слаб. Но стоит произойти малейшей заминке, и они впадают в совершенно детское отчаяние: «Значит, мы еще не окончательно победили?!» Но и об этом сказано в Библии, точно и откровенно, как всегда: «Мало по малу буду прогонять их (другие народы) от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей... Не выгону их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста... Не можешь ты истребить их скоро...» Но, если так, то, возможно, рав Меир Кахане и не увидит окончательной победы. Можно ли смириться с такой вопиющей несправедливостью?

Я думаю все-таки, это возможно пережить. Я думаю, бросать зерна в землю стоит. Но я думаю, что непрактично ждать урожая немедленно вслед за посевом. Даже на такой плодородной почве, как у нас. Даже под таким оплодотворяющим дождем пророчеств.

Я думаю, можно смириться, что Израиль пока еще не сверхдержава и побеждает не на всех спортивных состязаниях, фестивалях песен и конкурсах красоты. Можно смириться и с тем, что не всякое предложение новоприбывшего из России немедленно рассматривается кабинетом министров.

Можно даже смириться (как наши министры часто и делают, а чем хуже наши министры всех остальных евреев?), если твоё предложение отвергнут (конечно, из-за некомпетентности остальных министров) или примут и все сделают наоборот...

Можно смириться, пережить и сказать себе однажды: хватит с меня того, что уже есть. Если бы Бог вывел евреев из Египта, а золотые и серебряные сосуды не дал бы захватить, то довольно было бы и этого. Если бы выпустили нас из России голыми и босыми, а Сохнута не поставили бы на нашем пути, то все же довольно было бы с нас. Если бы Он вывел нас из Египта, а Сам не шел бы впереди в столпе огненном, чтобы не сбиться нам с дороги, то все равно с нас было бы достаточно. И если бы отстоял себя Израиль в Войне за Независимость, а следующую войну выиграл бы и не за шесть дней, то и этого было бы более чем достаточно. А если бы не сбежали отсюда по неизвестной причине четыреста тысяч арабов, чтобы освободить нам место и облегчить от вражды, то и того, что произошло до бегства, было бы довольно. И если бы не двести кибуцов процветали под небом земли, текущей молоком и финиковым соком, а только один-единственный кибуц преуспел бы в своем хозяйстве, и не повырывали бы его члены друг другу глаза и волосы, то и этого хватило бы на весь мир для провозглашения идеалов справедливости и осуществимости социализма. Но если не случилось бы такого, и идеалы социализма остались неосуществленными, то и без этих идеалов хватало бы нам с избытком. И если бы арабы сами не уничтожали друг друга и, разрушив Ливан, не превратили бы нас в единственное демократическое государство на Ближнем и Дальнем Востоке (а также в Африке, Азии и Латинской Америке), то, и не будучи такими уникальными, мы тоже не жаловались бы. Довольно, достаточно того, что есть, не нужно нам больших милостей. Потому что за большие милости — большой спрос, а разве мы, люди, на самом деле готовы к этому?

БИБЛЕЙСКИЙ РЕАЛИЗМ

(Статья была впервые опубликована в «22», № 10, 1979 г. в связи с публикацией в «22» повести Л. Гиршовича «О теле и духе».)

«И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был негоден пред очами Господа, и умертвил его Господь». (А в агаде уточняется, что, когда лежал он с Фамарью, у него кровь горлом пошла.) «И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего... и восстанови семя брату твоему». «Онан знал, что семя будет не ему; и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю... Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его... И сказал Иуда Фамари: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». А сам подумал: «Может быть, умрет от нее и этот?»... Так подумал он про злобучую эту моавитянку... Но прошло время и собрался он в Тимну стричь овец. И узнала об этом Фамарь, невестка его... «И сняла она с себя вдовью одежду свою, покрыла себя покрывалом и села у входа в Энаим, что на дороге в Тимну.!. И увидел ее Иуда, и почел за блудницу. И поворотил он к ней и сказал: войду я к тебе...» Быт. 38, 6-16. (А агада добавляет: «Ибо был Иуда весьма похотлив».)

Мы все знаем, что эта история хорошо кончилась, ибо Фамарь понесла, и все мы (ибо мы потомки в основном именно Иуды и преимущественно от Фамари, благослови ее Господь) оказались упрямы в желаниях наших, неотступны в домогательствах и семьяобильны в любовных трудах. Похотливы потомки Иудины, как патриарх наш, и чадолюбивы, как он. Неуклонны мы, как наша прамактерь, и нелегки для слабосильного, как она.

Для чего пересказал я столь близко к тексту эту библейскую историю? Производит ли она на современного читателя впечатление незамутненной святости? Не кажется ли нашему читателю, что она, пожалуй, грубовата? Вот это именно я и хотел бы подчеркнуть.

Я читаю это с глубоким чувством подлинности жизни, которая живописуется точно и грубо, без слюней. И сравниваю с нашей изящной словесностью. Наш патриарх назван был в агаде похотливым, потому что он был похотлив, а не любвеобилен, как сказал бы благочестивый современник. Наш патриарх не отдал Фамари своего младшего сына, потому что подумал: «Заebet она моего мальчика», а не потому, что он забыл и упустил это сделать, как силится бы объяснить наш благопристойный современник. Онан проливал свое семя на землю не в переносном, как хотелось бы блюстителю благопристойности, а в самом прямом смысле... Что бы мы ни говорили о себе — и те, что клянутся еврейской культурой, и те, что признают свое русское прошлое, — мы за долгие века впитали в себя христианское отношение к сексу, и это проявляется и в нашей застенчивости, и в нашем бесстыдстве. Талмуд, в отличие от соответствующих христианских книг, свободно обсуждает возникающие сексуальные проблемы, но и Талмуд делает это в отношении проблем того времени, то есть приблизительно полторы тысячи лет назад. По сравнению с приведенной историей, это почти современность, но все же... Все же я хочу спросить читателя, будем ли мы притворяться, что за прошедшие полторы тысячи лет ничего не изменилось, или дадим нашему читателю (и писателю) писать о возникающих у него в душе проблемах так, как он способен их выразить, даже если это и кажется неприлично людям, не привыкшим смотреть правде в глаза. Я решительно за ту грубую порой натуралистичность, с которой наши предки обсуждали свои интимные дела. Я думаю, что эта откровенность способствовала их душевному и телесному здоровью.

Я знаю, что немало читателей возмущено той откровенной манерой, которая принята в русскоязычной прессе на Западе при обсуждении многих проблем — и отнюдь не только секса.

Но уточним: вряд ли читатели всерьез думают, что редактор получает удовольствие от грязных сцен или наслаждается возможностью сказать неприличное слово на людях. Я думаю, что скорее они хотят освободить себя от этих неприятных впечатлений и тем как бы сказать себе: «Все в порядке! Мир все еще держится на порядочности и достоинстве. Это там где-то выродок Лимонов бушует, а мы по-прежнему цивилизованные люди, и у нас общество цивилизованных людей, а не бардак какой-то!»

Я глубоко солидарен с ними в этом чувстве и мечтаю до самой смерти сохранить то, что многие давно уже не называют иначе, чем наивностью. Но я хочу, чтобы это произошло не потому, что я не знаю (или не хочу знать), что происходит вокруг меня (и во мне), а потому, что я нашел в себе силы противостоять этому разложению и сумел защитить от него своих детей. Отец не сможет защитить сына от того, чего отец не будет знать или запретит сыну обсуждать с ним. Он может противостоять лишь тому, что понимает и знает сам. И, в крайнем случае, сам пойдет и сделает то, что любимому сыну Шеле, может быть, жизни бы стоило, или как-нибудь иначе распорядится...

Мир вокруг нас сошел с ума, и мы не сможем его исправить ни своими нравоучениями, ни тем, что в своем узком кругу не будем признавать общеизвестное или называть его по-старинному. Мы должны искать свой путь, и этот путь должен исходить из нашей физиологической и культурной потребности, а не из обломков приличий, подхваченных где-то между Россией и Америкой.

Между словесной сексуальной распущенностью Л. Гиршовича и подлинной распущенностью Э. Лимонова лежит непроходимая пропасть, в которую я каждому рекомендую заглянуть. Герой рассказа Л. Гиршовича «О теле и духе» — человек, пытающийся преодолеть свою реальную (скажем, физиологическую) слабость высочайшим напряжением всех своих умственных сил. Он хочет перехитрить природу и, жалко оскальзываясь и видя все яснее и яснее жуткую правду своей несостоятельности перед лицом наглежащей действительности (его жена оказывается куда искушеннее, чем он мог даже помыслить), предпочитает умереть, чем с этим знанием примириться. Я назвал бы это произведение высоко нравственным, хотя это оказалось бы в прямом противоречии с намерением автора, пытавшегося всячески снизить это несовременное впечатление от его рассказа. Совсем другое дело — роман Э. Лимонова «Это я — Эдичка». Жена покинула его, чтобы блядством пробиться в люди, и он глубоко страдает. Но он страдает не оттого, что его жена блядь, а потому, что она не берет его в компанию на этом славном пути. Уж он бы расстарался! Они бы вместе такие коники понапридумывали! А она не хочет. Просто хочет оставить его в дерьме. Это трагедия дружбы. Чужое семя на ее трусиках его и не задевает вовсе. Семя тут вообще ни при чем. Вот он очень смачно описал, как он излил свое семя в песок, лежа под негром (вспомните, чем Онан провинился), и ему легче стало. Он нашел друга и повеселел. (А герой Гиршовича встретил любовника жены — ему бы обрадоваться, теперь она еще веселей и поинтереснее в постели будет! А он, поди ж ты, стреляться...) Тут мы встречаемся с абсолютной безнравственностью, положенной в основу психологии Э. Лимонова, и можем проследить, откуда это берется.

Христианская культурная традиция (не только русская, но русская особенно) приучает человека, что секс сам по себе если не полностью постыден, то во всяком случае принадлежит к низшим проявлениям жизни, как таковой является грехом и может быть введен в культурный обиход только в ходе облагороженных околосексуальных переживаний (в принципе не обязательно предполагающих нормальное совокупление). Предметом искусств, переживаний и размышлений в христианском обществе веками являлись дружеское общение и любовные интриги, разлуки и несчастная любовь, танцы и живопись, подчеркивающая стыдливость, бледность черт и впалость щек. «Шепот, робкое дыхание, трели соловья... мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид... как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Естественно, что такое удаление от прямого объекта воздыханий рождало на другом полюсе также и прямой цинизм и порнографию, как необходимое дополнение. Так почти одновременно с расцветом «дев, соловьев и пустынных скал среди шумного бала» в русской литературе возник Н. Барков с его «Лукой Мудищевым», а Пушкин записал в своем дневнике об А. П. Керн: «Наконец-то, с Божьей помощью, выеб!» — и это совсем не противоречит ее характеристике, как «гения чистой красоты», и даже не снижает его чувства, но показывает глубокую раздвоенность культуры, в которой реальные жизненные вещи, оказывается, невозможно выразить иначе, как в пренебрежительном тоне. А он, может, это в восторге записал! Что же было написать? «Наконец-то, с Божьей помощью, воспарил с гением чистой красоты на крыльях любви...»?! (Кстати, так же обстоит в русской культуре дело с денежными вопросами и вообще с материальными вещами, так что на русской почве необыкновенно возвышенные натуры порой оказываются неожиданно для многих нечистоплотными в материальных делах — Н. Некрасов, Ф. Достоевский, — ибо они вообще не видят, как в таких низменных, грязных делах можно быть чистоплотным.)

Теперь, когда эта классическая культура и на Западе, и в России терпит ущерб, разрушается не столько отношение к самому главному (сексу, как греху), сколько социальное отношение ко второстепенному (необходимости этот грех маскировать). Более того, так как веками воспитывалось отношение к околосексуальным играм, как более значимым элементам жизни, чем собственно плодотворное совокупление, постепенно «выяснилось», что любовь импотентов, лесбиянок, педерастов и т. п. даже «выше» обыкновенной банальной любви, которая, в конце концов, не более, чем пережиток библейских времен. Лесбиянки гораздо тоньше понимают друг друга, педерасты меньше капризничают и более эстетичны, импотенты самоотверженно любят (см. Э. Хемингуэй «Фиеста») и т. д.

Среди этого всеобщего разрушения действительно разумно и даже спасительно вспомнить другое отношение к основным жизненным ценностям, которое запечатлено в Пятикнижии, но, к сожалению, не полностью запечатлелось в сердцах народа Книги. Секс (а также имущество, наследство, семья) не должен и не может быть предметом игры вообще. Это не грех, но тут нет легкости, потому что это связывает. Вся околоромановская мишура может существовать или нет, но сама любовь (не воздыхания, а совокупление) есть вещь настолько же серьезная, как и смерть, и так же связана с жизнью. При таком раскладе ни онанизм, ни гомосексуализм во всех их формах никак не могут быть рассматриваемы всерьез, ибо остаются всего лишь формами баловства, как и карточная игра не может рассматриваться всерьез как форма экономической деятельности. Поэтому, например, «Синдром Портного» Ф. Рота не является в еврейском смысле безнравственной книгой, ибо речь в нем идет не об онанизме, а о растерянности человека, который серьезно относится к сексу, в мире, который этой серьезности не принимает. И все метания его героя являются, по сути, лишь закономерными формами поведения еврея во взбесившемся мире, который все время сбивает его столку.

Мы, вырвавшиеся из одной большой цивилизации (России) и не вошедшие в другую (западную), находимся в уникальной ситуации. Еврейская культура, еврейский образ жизни, еврейское отношение к основным ценностям еще существуют, как отличие от окружающего мира, но уже грозят закоснеть, как одна из форм существующей циничной действительности. Если мы будем игнорировать окружающий мир и его манеры, мы не выживем в этом мире. Если мы просто усвоим окружающий мир и его манеры, мы растворимся. Мы существуем только до тех пор, пока, **все зная и понимая**, смотрим на это по-своему. Хватит ли сил? Бог весть... Я думаю, что у наших «поборников нравственности» этих сил уже не хватает, и они хотят спрятать голову.

ИАКОВ ОСТАЛСЯ ОДИН

(Опубликовано в «22». № 40, январь 1984 г.)

*«...Я остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари...
И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом...»
Бытие, 32, 24-28.*

Вспомним молодость. И ее песни:

«Сарра, не спеша, дорожку перешла.
Ее остановил милиционер:
«Свисток не слушали, закон нарушили,
Платите, Саррочка, штраф — три рубля!»

«Ну, что ты, милый мой! Ведь я спешу домой.
Сегодня мой Абраша выходной.
Я никому не дам, все съест родной Абрам,
А курочку разделим пополам...»

Даже короткого пребывания в израильском гражданстве достаточно, чтобы почувствовать, как изменяется в тебе отношение к антисемитам и антисемитским шуткам. Ну, перешла Саррочка дорожку, ну и что? Песенка про беззаветную преданность Сарры своему Абраму, которая почему-то оскорбляла нас в России, вдруг показалась мне почти трогательной. Если бы только имена Абрам и Сарра не резали слуха русскому читателю, эта простая история, возможно, заняла бы свое скромное, но достойное место в заднем ряду других шедевров мировой литературы, посвященных идиллическим парам: «Дафнис и Хлоя». «Филемон и Бавкида», «Фархад и Ширин», наконец... Раздобудь Ширин шашлык для своего Фархада, разве она разделила бы его с первым встречным милиционером?

В Израиле, где Абрам и Сарра звучат ничуть не иначе, чем Иван да Марья, начинаешь чувствовать, что если бы антисемитизм оставался неразделенным чувством, он не смог бы задеть нас столь основательно, как это было в действительности. То есть без нашего психологического соучастия, готовности «понять», он не казался бы столь оскорбительным. Опасным — конечно, несправедливым — большей частью, но вовсе не унижительным. Ведь песенка про Саррочку оскорбительна русскому еврею только потому, что она довольно верно воспроизводит портретные черты его нерусского предка. Так называемого «местечкового» еврея, сходства с которым он привык стыдиться. Ведь еврей в России был склонен стыдиться, что отца его некрасиво звали Абрамом. Что мама живот готова была положить, чтоб в доме была курочка. Что родители не угощали направо и налево соседей, как делают русские люди в патриотических кинофильмах, на которых мы были воспитаны. И разве не стыдно того, что родители относились друг к другу по-человечески? Мещанская сентиментальность! Какая еще сентиментальность возможна между Абрамом и Саррой? Вот купила бы она чекушку! А верный Абрам, ставший Аркадием, выпил бы ее с соседом и подрался — такая песня была бы не антисемитской, и она неискаженно отражала бы дорогой нам всем образ советского еврея:

Раз пошли на дело, я и Рабинович.
Рабинович выпить захотел...

Все, как у людей.

Говорят, с помощью логики все можно доказать. И все опровергнуть.

Ничего подобного. Никакой логикой не докажешь израильтянину, никогда не жившему среди других, что антисемитизм может его унижить. Также невозможно опровергнуть тот, уже случившийся, факт, что существование Израиля проблему антисемитизма снимает. Антисемитизм остается, как был. Но проблемы больше нет...

Конечно, израильтянин может заметить антисемитизм — он не слепой. Но он не может проявить того «понимания», которое дает возможность еврею страдать, а антисемиту получить свое моральное удовлетворение. Израильтянин не найдет в собственном опыте никаких оснований оскорбиться при разговоре о еврейских недостатках. Он даже может многое добавить от себя. Антисемитские карикатуры понятны только людям из диаспоры, которые там вместе с коренным населением знают, как они безобразны. Евреи из Израиля не видят ничего некрасивого в крючковатых носах и выпуклых глазах. Некоторым даже нравятся толстые губы. Однако, главное не в этом. Антисемитизм не волнует израильтян прежде всего потому, что он никак не может им повредить. И это быстро усваивают новые израильтяне. Так уж мы, люди, все устроены. Нас волнует по-настоящему только насущное. Из этого тривиального соображения вытекает нетривиальное следствие: у проблемы антисемитизма существует решение.

Я не стану утверждать, что это решение для всех. Например, тот факт, что три миллиона евреев в Израиле уже не реагируют на антисемитизм, нисколько не облегчает ежедневных страданий миллионов антисемитов, по-прежнему видящих более чем достаточно евреев вокруг себя. И у них, антисемитов, пока нет выхода. Возможно, и сами эти евреи не полностью счастливы в диаспоре. Однако, у них выход есть... Я, конечно, не имею в виду СССР, где даже в метро повсюду натыкаешься на надпись: «НЕТ ВЫХОДА».

Проблема, которая имеет решение, уже не проблема, так же, как и трагедия со счастливым концом уже не может считаться трагедией. Жизнь всякого человека на земле трудна, но трагедией ее делают только Непреодолимые Обстоятельства. Рок и Страсти ведут к Гибели. Погромы и Катастрофа сообщают еврейской судьбе трагический оттенок. Но если есть выход, в чем трагедия? Если нет неразрешимости, в чем проблема? Еврейское государство было создано, чтобы дать приют беглецам, которым было **некуда** бежать. Если бы у слова «некуда» был в те времена какой-нибудь переносный смысл, еще неизвестно, как бы обернулось дело...

Я также не могу сказать, что Израиль, во всяком случае — в том виде, как он есть, является наилучшим решением еврейского вопроса. Несомненно, что в диаспоре есть евреи, которые знают лучшие решения. Например, два года назад в нашу редакцию поступила из Мюнхена книга Б. Ефимова «Новый Израиль для территориалистов» (см. «22», № 32). В ней набрасывалась заманчивая альтернатива. Там предлагалось построить плавучий остров, размером с Израиль, который будет плавать по морям, выбирая климат согласно результатам референдума среди его жителей и давая евреям возможность пожить в наилучшее время года то в Европе, то в Америке. Все равно в Израиле нет полезных ископаемых (кроме костей предков). Заодно отпадет проблема границ и территорий, а также смежные проблемы военной службы и взаимоотношений с арабами. Зато пышным цветом расцветут еврейские таланты, которые, конечно, обеспечат высочайший в мире жизненный уровень... При первых признаках появления антисемитизма в пунктах причала, остров разводил бы пары и отплывал к более гостеприимным берегам. У такого проекта почти нет недостатков, в отличие от Израиля, который имеет их в изобилии. Однако, если обсуждать только то, что есть, приходится признать весьма несовершенный Израиль реальным (то есть тоже, в сущности, несовершенным и пока единственным) решением еврейского вопроса.

Решение одной проблемы всегда ведет к возникновению новых проблем. Освободившись от проблемы антисемитизма, израильтяне по горло завязли в проблемах, которые наши предки вверяли коренному населению антисемитских стран. И тут у многих израильтян возникло искушение подумать, что, быть может, и не всегда или не полностью были неправы отдельные антисемиты в отношении отдельных, нетипичных евреев, которые мешали им, антисемитам, решать их отдельные проблемы. Проще говоря, когда из привычного состояния в меньшинстве, ты вдруг ощущаешь себя принадлежащим к большинству, ты и мыслить начинаешь иначе, в соответствии с ролью и интересами большинства.

Если социальная проблема меньшинства состоит в том, чтобы улучшить свое положение в составе общества, проблемы и ответственность большинства гораздо шире (и потому неизмеримо труднее) и относятся к устройству и существованию общества в целом. Проблемы меньшинства известны и хорошо изучены. В идеале, меньшинство завоевывает себе все то, что уже есть у большинства. Как сказал достигший в России признания поэт М. Светлов от имени русских евреев «Чего они еще от нас хотят? Мы уже пьем, как они». Проблемы же большинства беспредельны и задачи не ясны. Идеал для большинства не поддается определению и зависит от веры. Как сказал другой поэт: «Умом Россию не понять. В Россию можно только верить». Он хотел намекнуть, что Светлов выполнил еще не все условия, необходимые, чтобы слиться с большинством населения России.

Меньшинство получает свою награду или поношение от своего большинства. А чей суд свершается над большинством? Стоит ли упоминать все? Тем более, что во многих исторических случаях этот суд еще не свершился.

Еврей в диаспоре, хочет он того или нет, противостоит всего лишь обществу, в котором живет. Правота в спорах с людьми слишком легко ему дается. Даже будучи побиваем и несправедливо оскорблен, он оказывается прав вдвойне, ибо еще и осуществляет христианский идеал распинаемой правоты. Это противостояние, справедливо или нет, дает внешнее основание для антисемитизма.

Прав был Иаков в споре с Лаваном или нет? Был ли он виновен перед братом своим Исавом? По-человечески их спор мог быть решен и так, и этак. Пока Иаков не остался один, пока своей борьбой в одиночку он не подтвердил завета, заключенного с предками. Только этот Завет поставил его правоту выше обычных житейских расчетов. Он должен был остаться один, чтобы встретить истинное свое предназначение. Он остался один, чтобы легкость межчеловеческих споров не увела его от призвания. Еврей в Израиле, вместе со всем своим обществом, остается, наконец, один... Человек из диаспоры теперь тысячу раз подумает, прежде чем предпочтет сменить свои знакомые, наболевшие проблемы на свежие проблемы израильтянина. И он будет прав. Думать, вообще, полезно. А вот пожаловаться больше некому...

Распалась связь времен. До 1948 года всегда можно было пожаловаться на антисемитизм. И найти понимание. По крайней мере, среди своих. После 1948-го, попро-буй, пожалуйся — свой же брат-еврей тебе под нос сунет: «Ну и поезжай в Израиль!»

Что же ему ответить? Неужели, как Е. Фиштейн (тоже из Мюнхена) учит в своем эссе «Из галута с любовью» (см. «22», № 40), что ты «вошел в мир, чтобы осветить человечество первыми вдохновениями упорядоченного семейного строя, но никогда не мог выносить в себе государственного идеала»? Ведь засмеют! Вот и Е. Фиштейн дальше пишет, что приводит «эти мысли не потому, что их разделяет, а потому, что они есть». Но если нельзя уже всерьез привести эти мысли, чтоб защитить свое положение в диаспоре, то не означает ли это, что их уже как бы и нет? То есть они уже не относятся к делу. В частности потому, что дело идет не об идеалах. Есть еще множество причин жить в Мюнхене, вопреки антисемитизму, даже если навсегда оставить надежду осветить человечество своими вдохновениями. Причины эти более чем уважительны, но поскольку в сумме они перевешивают неприятные впечатления от антисемитизма, значит и антисемитизм этот не так страшен, как его нам малюют. Если же он действительно непереносим, то... мы опять возвращаемся к тому, с чего начали.

Кто бы мог подумать о таких необратимых последствиях реализации права на самоопределение? Кто бы предположил, что получив, вдобавок к остальным правам, право на самоопределение (что есть безусловное благо), мы утеряем часть душевного комфорта, связанного с возможностью винить других во всех наших бедах?

Не к тому ли сводились некоторые из антисемитских претензий?

Такая же опасность, кстати, таится и в реализации всех остальных «прав человека». И нет ли заметной доли правоты и в претензиях охранителей к диссидентам?

О. если бы все, борющиеся за свободу, это знали!

Весьма пронизательно отметил Е. Фиштейн: у нас, у новых израильтян, склонность к самообожанию в сочетании с равнодушием к судьбам преследуемых евреев всего остального мира. Конечно, было бы лучше для всех, если бы такое наблюдение исходило от человека, живущего среди нас. Нам тогда было бы легче его принять. Он, Фиштейн, в данном случае, поступил с нами, как еврей. Неделикатно то есть, выступил. Но давайте и мы не становиться антисемитами и примем его обличение с благодарностью. Ведь есть грех. Есть желание возвыситься над галутным евреем (над кем бы еще можно было, кто бы стал слушать?), возрастающее пропорционально разнице в налогообложении и числу дней, проводимых в военной службе. Есть и другие грехи, похуже этого. Но и признав все свои общечеловеческие грехи, не признаем, что между израильтянами и остальными евреями нет никакой разницы. Разница не просто велика, а принципиальна.

Есть ли разница между владельцем предприятия и наемным служащим? Люди в СССР, возможно, думают, что эта разница проявляется только в доходе, который они получают. Однако, есть предприятия, где разницы в доходе нет или она — не в пользу хозяина. Принципиальная разница, которую не измерить деньгами, существует между тем, что «мое», и тем, что «чужое» или «общее». Тут идеология ни при чем. Я окурков дома на пол не бросаю. Не потому, что уважаю труд уборщиц. А в городском парке я их бросаю не в знак протеста против ущемления прав этнических меньшинств. Тот факт, что в сферу «своего» у израильтянина, хотя бы и недавнего, входят совсем другие люди, вещи и понятия, не станет отрицать и Е. Фиштейн. Но тогда и его ирония по поводу сходства израильтян с «другими территориально обеспеченными народами» показывает лишь глубину его непонимания. Непонимание это заставляет нас еще острее ощутить то новое чувство причастности, которое так редко посещало нас в СССР. Быть может, и здесь идеология играет очень небольшую роль. Когда израильская команда играет в баскетбол, мы переживаем это совсем не так, как было в России. И наша операция в Энтеббе волновала нас гораздо больше, чем провалившаяся операция американцев в Тегеране и чем удачная операция немцев в Могадишо. Когда видишь по своему телевизору похороны солдата, накануне погибшего в Ливане, и знаешь, что на днях соседскому мальчишке идти в армию, воспринимаешь это иначе, чем сообщение, что еще 10 000 советских солдат погибло в Афганистане. Тут соображения о справедливости войны ни при чем. Может быть, Россия слишком велика, а советская власть слишком противна, чтобы могли мы так же

чувствовать это и в своей диаспоре. Но, быть может, и упреки русских антисемитов в том, что, несмотря на триста лет сосуществования, не все евреи ощутили Россию, как «свою», не вовсе лишены оснований? Конечно, также очевидно, что и русские сами виноваты в этом, но ведь не станем же мы ожидать, что они увидят у себя в глазу эту соринку. Ведь они, как и мы, такие, какие есть, хороши для себя и меняться не спешат.

Оттого что Израиль маленькая страна, наша жизнь очень сильно зависит от всего, что в ней случается. И это меняет все наши прежние представления о жизни вообще и о нашем брате-еврее, в частности. В известном стихотворении:

Вдруг трамвай на рельсах встал,
Под трамвай еврей попал.
Евреи, евреи — везде одни евреи...

юмористическим в Израиле может показаться только упоминание трамвая, которого здесь никогда не было. Ведь вокруг нас действительно везде одни евреи. И «если в кране нет воды», воду в самом деле выпили или испортили жида. А в том, что «нету бинта, нету ваты — все евреи виноваты» у нас сомнений быть не может. Кто же еще? Всеми своими неприятностями, как и всеми достижениями, мы обязаны исключительно евреям. Израильтянин не просто окружен евреями. Он всегда окружен ими и только ими.

Наш традиционный моральный экстремизм, радикальность мышления и нетерпимость несколько умеряются постепенным осознанием того факта, что все мы сидим в одной лодке. А также непосредственным ощущением, что эта лодка не так уж велика. Мы привыкаем жить одни в своем доме...

Наверное, коренное непонимание в главном пункте обрекает на недостоверность и все остальные пункты литературно такой обаятельной статьи Е. Фиштейна. Начиная с эпиграфа из Второзакония, который очевидным образом относится не к евреям Израиля и Диаспоры, а к первому поколению, вышедшему из Египта, и последующим. Кончая очаровательной последней фразой о диаспоре: «Она тихо станет за его (израильтянина) спиной, как нелюбимая, но верная жена». Как это ни трогательно, однако «Любящая, но неверная жена» было бы для характеристики взаимоотношений Израиля с диаспорой не менее верно. Фатальным образом все три автора, которых выбирает для критики Е. Фиштейн, никак не укладываются в его диагноз. Ни один из них не может быть обвинен в «комплексе неопита», и тем более здесь не по делу «комплекс ренегата». И М. Хейфец, и М. Агурский сложились как писатели еще в России и высказывали там в своих неподцензурных писаниях мысли очень близкие к тем, которые вызвали критику Е. Фиштейна сейчас. Мы даже имели случай критиковать одного из них за это в нашем журнале (см. «22», № 3). Н. Гутина начала писать в Израиле и, будучи гораздо моложе, просто искренне не понимает нашей чувствительности к антисемитизму, происходящей от специфического жизненного опыта. К тому же она — писатель антибуржуазный, и, если бы Е. Фиштейн дал себе труд вникнуть в противоположительский, а не противоеврейский контекст ее мыслей, я боюсь, он скорее согласился бы с ней, чем обличал. Во всяком случае его презрительные выпады против «лабазников» и «израильтянина, зарабатывающего свой шекель в торговых рядах» представляются мне будто списанными у Н. Гутиной, которая не без оснований предполагает за евреями диаспоры склонность и к гораздо менее почтенным занятиям. Наконец, ее призывы к официальным инстанциям хотя и носят чисто риторический характер, но вполне адекватно отражают настроение очень значительной части израильской публики, которая посылает вызовы в СССР совсем не для того, чтобы советские евреи над ними смеялись.

Возможно, именно сюда протянется обличающий палец Е. Фиштейна, чтобы заклеить черствость и непонимание израильской публики. Я уверен, что он сумеет сделать это самым элегантным образом. Я не сомневаюсь также, что и Н. Гутина сумеет отбрызнуть его не менее категорически и изящно. Но в данном случае меня интересует не правота или ложность позиций сторон, а то коренное неравенство в их положении, которое я стремлюсь охарактеризовать на этих страницах. Это неравенство не людей, а их положения в мире.

Хороши израильтяне или плохи, они — одни в целом свете, на которых могут надеяться евреи в СССР. Красиво или безобразно, но только израильтяне могут вызволить евреев, оказавшихся в беде в какой бы то ни было точке земного шара. Как бы ни был теоретически прав Фиштейн, вызова из Мюнхена (если, не дай Бог, что случится) ему придется ждать от Гутиной, не говоря уж о том вызове, который он однажды уже получил в России от другого израильтянина. Именно эта подспудная зависимость и тяготит его, и восхищает. Нелегко еврею в диаспоре (как и всякому человеку) расстаться с мыслью о своем центральном положении в собственном идеологическом космосе. Но, именно как еврей, он вынужден это сделать.

Каковы бы ни были Божьи замыслы в отношении диаспоры, они осуществляются помимо воли исполняющих — так сказать, вне писаного контракта. Евреи живут в диаспоре не вследствие своей миссии, и многие останутся там, даже если найдется убедительное свидетельство, полностью эту миссию отменяющее. Израильтяне же, каковы бы ни были их личные мотивы, исполняют условия, не только записанные Богом, но и повторяемые ежегодно и торжественно всеми евреями мира.

Допустим, я расист, живу в Израиле из корыстных побуждений, «зарабатываю свой шекель (О, Боже, услышь!) в торговых рядах» и к тому же страдаю «комплексом неофита». А некто в диаспоре, скажем, Е. Фиштейн, напротив, благородный человек, уважает черных, сеет разумное, доброе, вечное согласно своему призванию и искренне желает Израиллю всяческого процветания. Несмотря на очевидную разницу в моральном уровне, именно мне придется расплачиваться за спасение очередной группы евреев, скажем, из Эфиопии. А Фиштейну — только обсуждать мою неэффективность среди знакомых. Я вынужден буду встречать эфиопов на улице, в магазине и в поликлиниках и, возможно, испытывать неудобства, которые неизвестны европейским противникам апартеида. У меня, вместе со всем Израилем, вдобавок к арабам и персам, появится новый могучий враг — Абиссиния. Мою тещу не примут в больницу, потому что больница переполнена эфиопами. А Фиштейну достанется умиляться моей жертве или, наоборот, подсчитывать, сколько денег на это слупит Сохнут с диаспоры. Возможно, под влиянием этих реальных факторов или вследствие заблуждений, мой «комплекс неофита» может перерасти в «комплекс ренегата», и я стану обдумывать возможности уклонения от армейской службы и даже бегства из страны. Однако, вынужденный совместить эти комплексы с корыстными интересами, я до осуществления своих планов буду пока околачиваться в «торговых рядах». Откуда меня и загребут на внеочередной срок в «милуим» охранять какой-нибудь забытый Богом аэродром в пустыне, на который как раз и высаживают этих полуживых эфиопов. Не склонный им сочувствовать, я стану злословить, что как только всех этих черных лоботрясов вылечат, они побегут получать социальные пособия, вместо того чтобы идти работать, как пришлось нашему брату. И голосовать, небось, их потянет за какого-нибудь Меира Кахане (или Меира Паиля, как им в голову втемяшится), а не за перспективного Флатто-Шарона, как мне когда-то хотелось. Одним словом, процветание Израиля и мое лично опять отложится на неопределенное будущее. Я буду проклинать все на свете, и этих спасенных — в первую очередь, и, может быть, израильский интеллектual с соседней койки в казарме робко мне возразит, но еврей из диаспоры смело будет мне указывать мое предназначение — спасти всех угнетенных евреев (а, может быть, и неевреев) всех стран, да еще добавит что-нибудь еврейское о равенстве и справедливости. Ведь я живу для себя, а еврей в диаспоре, как известно, живет для справедливости...

Но все же спасти кого бы то ни было и нести все последствия этого суждено именно мне, а не ему. Потому что я, какой ни есть, рискнул в свое время поселиться в еврейском государстве, а он остался пока там, откуда время от времени приходится евреям спасать, но куда их неудержимо тянет снова. Может быть даже потеряв возможность зарабатывать на антисемитах и перестав их бояться, я и в самом деле возвысился, совершил «алию»? Во всяком случае, имея дело только с евреями, всегда знаешь, чего можно от них ожидать.

Возможно, мы, израильтяне, не лучшие из евреев, но остаться одним, действовать как народ и ощутить, что это значит, дано только нам. Много раз в современной истории наша еврейская пронизательность обнаруживала несправедливость в основаниях существующих обществ, а наша безответственность, как меньшинства, способствовала созданию новых, гораздо худших. Как совместить требования справедливости с реальной жизнью большинства, а не призрачной жизнью потомственных подавателей советов, может знать лишь Тот, кто эту справедливость установил, собрал нас вместе, оставил одних и обрек на поиски того, чего еще никогда не было. Ему, толкнувшему на неведомый новый путь, только и судить наши заблуждения. Эти заблуждения — тоже часть нашего нового опыта. Опыта одинокой борьбы. Задолго до появления зари.

«ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД, ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК...»

Все, что касается проблематики государства Израиль и сегодняшнего этапа еврейской истории, выходит за рамки элементарных понятий справедливости. Справедливо ли китайцы выгнали гуннов из монгольских степей? Справедливо ли те разрушили Рим? К тому, что мы видим сегодня в Израиле, совершенно бессмысленно подходить с расхожими мерками справедливости-несправедливости, международного права и либерализма, потому что сами эти понятия и мерки есть результат определенного исторического развития, а не наоборот. Мы живем в ситуации установления прецедентов, на которых такие понятия основаны, и потому должны принимать факты, особенно исторические факты, как они есть. Попытка уничтожения еврейского народа в середине нашего века в Европе должна рассматриваться нами не в моральных категориях, которые кощунственны в этом контексте, а в категориях исторических: она означала, что для еврейского народа больше нет места в Европе, точнее — в той европейской цивилизации, в рамках которой он существовал около тысячи лет. Часть еврейского народа поняла этот урок, как ни странно, предсказанный сионистами.

Все, что произошло затем, тоже происходило в таком историческом контексте, что не может рассматриваться без высокого, почти онтологического элемента. Этот онтологический элемент кроется в том факте, что основная идея той цивилизации, которая нас, в сущности, извергла, в течение всего периода своего существования находилась в конфронтации с другой, мусульманской религиозной идеей, открыто враждебной ей. Эта конфронтация приобретала в разные времена разные формы. Одним из самых острых ее эпизодов были крестовые походы. На том этапе европейские народы могли еще рассматриваться как варварские, между тем как мусульманство было тогда более продвинуто культурно (не случайно именно соприкосновение европейцев с Востоком во

времена крестовых походов обозначило начало Нового времени); и уже в те времена евреи оказались между молотом и наковальней: они в значительной мере участвовали в мусульманской культуре и первыми пострадали от крестоносцев. Они воспринимались тогда на Западе как представители Востока, с его богатством и интеллектуальной искусственностью.

Сегодня, на новом этапе этого древнего конфликта, евреи снова оказались между ними. Однако вектор истории сегодня повернулся на 180 градусов: прежняя бедная, застойная Европа стала богатой и динамичной, некогда богатый и динамичный Восток культурно регрессировал и стал застойным. Это однако не означает, что его культура стала мертвой; в ней и сегодня есть динамичные силы, и они, я полагаю, жадно стремятся присвоить достижения Европы, то есть, в сущности, стремятся к модернизации, одержимы стремлением вернуться в историю. Современный русский историк Лев Гумилев называет такие эпохи в жизни народов «пассионарными»; вполне возможно, что мы присутствуем при такой эпохе в жизни арабских народов. «Пассионарное безумие», несомненно, имеет место в нынешнем мусульманском мире: с одной стороны, оно проявляется в возрождении исламского фундаментализма, с другой — в виде (даже несколько чрезмерного) пренебрежения самими основами ислама во имя чисто материальных ценностей, как это происходит в Ираке, а раньше в Турции. Столкновение фундаменталистского Ирана с оголтело секулярным Ираком — одно из проявлений этого внутреннего развития. Развитие это противоречиво, оно может действительно вести к новому возрождению мусульманской цивилизации, а может привести к абсолютному варварству.

И вот — евреи снова оказались между двумя этими мирами, теперь уже как участники Западной цивилизации и нежеланные заморские гости на Востоке. Наверное, это не случайно — такова наша историческая роль. Ведь иудаизм является материнской религией в отношении как к христианству, так и к исламу, и обе эти религии имеют свои претензии и свой пиетет к евреям. Обе по-своему враждебны евреям и одновременно испытывают по отношению к ним своеобразный комплекс неполноценности: чрезмерно их уважают и чего-то от них ждут. Ненавидят, презирают и уважают. Тот безумный, иррациональный антисемитизм, который мы время от времени видим то у арабов, то у европейцев, как раз и выдает, что от евреев ждут чего-то большего, чем от всех остальных людей. Ведь друг друга, например, арабы убивают без всякого зазрения совести. И буквально назавтра готовы целоваться друг с другом. Но нельзя себе представить, чтобы они целовались с евреями. Это никак не вмещается в рамки их психологии. Они могут мирно жить с евреями, но не могут признать еврейского приоритета ни в чем, ибо еврейский приоритет разрушает их идеологию. А согласиться на официальный мир с евреями означает для них как раз признание нашего приоритета, ибо этот мир вынужден нашим превосходством, а не их великодушием. И в этом трудность.

У Европы есть та же трудность. Ведь в сущности вся ненависть Гитлера к христианству происходила от его представления, что оно навязано германцам евреями. Сегодня тот же комплекс возник у русских расистов. Любопытно, что этот комплекс неполноценности проявляется и в филосемитизме. Сегодня христиане-филосемиты создали организацию христианских сионистов, которая недавно провела в Иерусалиме свой (второй уже) международный конгресс. В их беззаветной любви к Израилю я вижу выражение одной из двух противоречивых составляющих христианской концепции (другой составляющей которой является антисемитизм). Ведь сама идея христианского смирения требует, конечно, от христиан признания евреев.

Если вернуться к христианско-мусульманскому конфликту, в центре которого мы опять оказались, то можно утверждать, что он был неизбежен. Эти две концепции принципиально несовместимы, и их конфронтация будет продолжаться еще много веков. Обе они вышли из лона иудаизма, но христианство вышло из пророческой, гилелевской ветви иудаизма, в которой преобладали мягкость, свобода воли и, в конечном итоге, жертвенность. Мусульманство же заимствовало из того же иудаизма идею торжествующего мессии, который должен победить не духовно, с креста, а силой, реально, и создать царство Божье на земле. Но поскольку царства Божьего на земле — в духе идеалов справедливости иудаизма — мусульманам, естественно, достичь не удалось, они пошли путем упрощения своих идеалов справедливости. Христиане же, не отказываясь от этих идеалов, перенесли их на небо. Бедный христианин знает, что его положение на Земле несправедливо, но зато царство Небесное принадлежит именно ему. Бедный мусульманин вынужден считать свое положение на земле справедливым, раз у него не хватило силы стать богатым. Ибо сильному положено торжествовать. Так будет и на небе. Христианство идеологически предпочитает поражение неправде. Мусульманин ставит победу, то есть силу, в основание права.

Конечно, евреи пришли на Ближний Восток со своей мифологией, но мне кажется, что и христиане, и мусульмане игнорируют нашу мифологию. Они не интересуются нашими переживаниями, они заняты своими мифами. Для мусульман евреи — агенты христианского мира, способные подорвать основы их культуры своими культурными и политическими ценностями, которые этим основам противоречат. Для христиан, напротив, мы испорченная часть европейской цивилизации, ибо в нас есть мусульманская непримиримость: мы не хотим быть жертвами, мы не хотим дать себя распять, в общем — мы нарушаем христианский идеал. Но здесь нет полной симметрии: в той мере, в какой западные христиане все же цивилизованные и разумные люди, они нас поддерживают, ибо видят нашу относительную близость к их цивилизации — наш демократизм, либерализм и так далее; все это им близко, и до тех пор, пока мы сможем это продемонстрировать, нас будут поддерживать на Западе, — но тем больше именно этим мы будем провоцировать Восток, который всячески стремится втянуть нас в борьбу на своих условиях, своими методами. Нашу же

собственную мифологию ни те, ни другие всерьез не принимают, считая, что мы попросту лицемеры, которые твердят о чем-то непонятном: Земля Обетованная, какие-то Исторические связи, гуманность и гражданские права. Права качают...

С точки зрения мусульманства, если мы верим в Обетование, у нас не может быть никакого гуманизма. Значит, мы просто демагоги, колонизаторы, которые притягивают Обетование, чтобы оправдать свои дикие демократические идеи, обрекающие их на второстепенные роли (какую еще роль может играть в демократическом обществе человек, не умеющий пользоваться и не ценящий демократических механизмов самоорганизации? Сравним с нашим собственным положением русских «олим»). С точки зрения христианства, вера в Гражданские Права и Гуманизм должна отменить идею заселения, так как заселение требует стеснить волю других людей, не дожидаясь Божественного вмешательства и исполнения Обетования. Значит, мы опять лицемеры, колонизаторы, которые симулируют Гуманизм, чтобы оправдать свои захватнические инстинкты, диктующие нам заселение Иудеи и Самарии для эксплуатации тамошних мирных жителей. Первый официальный сионист Герцль еще не говорил об исторических связях с Землей — он был в этом отношении вполне внутри христианской традиции: он говорил только о «справедливости». С этим христиане в конце концов согласились: да, действительно справедливо дать евреям землю. Особенно, если никто на нее не претендует. Но когда евреи заговорили именно о Сионе, и тем более, когда появилась арабская проблема, христианское сознание уже засомневалось в этой справедливости.

И теперь мы подходим к реальному конфликту. Конечно, его можно рассматривать без всех этих онтологических введений, но его нельзя по-настоящему понять без них, ибо характер и цели всех участвующих в конфликте сторон совершенно различны. Когда мы, следуя за христианской Европой, приписываем арабам определенные политические цели, мы заблуждаемся: у них этих целей нет. Это ложь, которую мы внушаем сами себе и которую арабы охотно внушают европейскому миру, ибо внушение противнику иллюзий, обман противника входят в их понимание борьбы, в их идеологию и их культуру. Но обратимся однако к реальному конфликту.

Кто в него втянут? На первый взгляд, Израилю в нем противостоят **все** арабы, **весь** арабский мир. А может быть, даже весь мусульманский мир. Это выглядело бы довольно странно, если бы было действительно так. Но мы уже говорили, что на самом деле это не так: Израиль лишь потому вызвал вражду всего арабского мира, что является вершиной «европейского айсберга»; арабский мир поднялся против превосходства и внедрения европейской цивилизации в его географические пределы; именно эта угроза, а не сам по себе Израиль вызвала такое глобальное арабское противостояние. При этом не забудем, что это противостояние амбивалентно: восток в действительности **хочет** этого внедрения, но — на своих условиях, с сохранением своего превосходства — как в Саудовской Аравии.

Таким образом, конфликт имеет исторический и глобальный характер; к сожалению, об этом забывают, не понимая, что нынешнее столкновение израильтян и палестинцев есть всего лишь столкновение передних рядов двух огромных армий, скрывающихся за линией фронта с обеих сторон. И в первые ряды с обеих сторон вытолкнули людей не по их воле. Но даже само это «столкновение передовых отрядов» тоже, как правило, толкуют весьма и весьма неправильно: говорят о палестинцах вообще, между тем как палестинцы тоже не являются чем-то единым — не только с арабами, но и внутри самих себя. Эта неоднородность не имеет никакого отношения к тому, являются они народом или нет — вопрос, составляют ли палестинцы народ, меня не интересует, потому что он мне кажется нерелевантным. Национальный миф, которому всего сорок лет, не имеет никакого значения на фоне той исторической многовековой онтологии, о которой мы говорили. Вопрос не в том, есть ли палестинский народ сейчас; более важно, возникнет ли он в будущем; но это никому не известно. Впрочем, и это второстепенно; более существенно, что сама постановка вопроса: конфликт с **палестинцами**, необходимость решения **палестинского** вопроса — абсолютно не соответствует действительности. Ибо так называемые палестинцы содержат в действительности много разных групп, каждая из которых имеет свои особенности и свои цели. Есть значительная часть палестинцев — это крестьяне Иудеи и Самарии, — которые живут внутри архаичной феодальной структуры. С ними можно враждовать или примириться, но нужно сознавать, что их проблемы не имеют никакой связи с проблемами беженцев Газы, а значит — требуют совершенно иного решения. Проблемы беженцев — это нищета и теснота, проблема крестьян — это земля и традиция. Далее, есть группа арабских интеллигентов Иерусалима, Шхема и Хайфы, однородная независимо от политической географии: это группа высокообразованных людей, понимающих глубинный смысл всего конфликта. Как правило, это богатые люди, дети шейхов, прошедшие школу европейской культуры, которые ощущают себя законными лидерами своего мира. Наша проблема с ними состоит в том, что мы поставили их в униженное и оскорбительное положение. Мы не воспринимаем их лидерства, ибо оно основано на крови, роде и земле, чего для нас, привыкших к западной идее выборных лидеров, недостаточно. Я думаю, что эта группа не сговорится не только с нами, но и с Арафатом. Еще одну группу составляют арабы Израиля. Я не знаю, в какой мере они заинтересованы в нас, а в какой мы сами выталкиваем их на периферию. И наконец — та группа, быть может — самая важная, с которой мы действительно находимся в непримиримом конфликте, возникшем в результате развития государства Израиль. Вот их я, пожалуй, готов назвать палестинцами. Это группа беженцев. Они есть и в Газе, и в Шхеме, и в Ливане, и вот между ними я действительно не вижу особой разницы. В чем их особенности? Они полностью выброшены из феодальной структуры и свободны от ее табу. Они (все или почти все) получили образование,

которое позволяет им считать себя, как группу, выше всех других арабов. Многие из них имеют профессиональную подготовку. Именно эта группа особенно жадно стремится к модернизации, хочет зарабатывать, делать карьеру, жить по западному образцу. Их можно — с натяжкой, конечно, — рассматривать как европеизированную прослойку, и им можно приписывать те гражданские чувства, которые обычно приписывают палестинцам вообще. Однако поскольку они все-таки арабы и находятся в контакте с уже упомянутой арабской интеллигенцией, их тянет в арабский мир и скорее всего они останутся в нем, они не станут полностью европейцами. Мысль сделать их европейцами есть только у Хабаши и это не случайно, в этом его главная слабость: он христианин, этим все сказано, лидеры его типа обречены в мусульманском мире.

Из этого расклада следует, что наши рассуждения о «территориях вообще» и «палестинцах в целом» ни к чему серьезному не могут привести. Отдать территории? Кому отдать? С кем мы хотим примириться? Если мы помиримся с одними, мы останемся смертельными врагами других. Как мы видим, есть разные группы и с каждой у нас разные конфликты. Если сегодня они выступают как единое целое, то лишь потому, что их объединяет наша собственная глупость. Мы не сумели разделить эти группы и договориться с каждой по-своему. Но Израиль — молодое государство и политика его еще в пленках (в отличие, скажем, от британской). Не только палестинцы рассматриваются у нас как нечто единое, но за ними, в том же ряду, говорится об арабах вообще, в целом, и начинаются поиски мира со всеми с ними разом, что наверняка превращает задачу в неразрешимую. Причем в таком подходе, когда говорят об арабах вообще, им уже никак нельзя приписывать ничего европейского, а между тем методы, какими пытаются решить этот сложный конфликт, принимаются чисто европейские: международные договоры, международные конференции и тому подобное...

Если однако видеть конфликт в его конкретности, то дело упрощается. Феодальная структура прежде всего корруптивна, поэтому политика в отношении нее должна быть направлена на подкуп. С интеллигенцией нам нечего делать: мы — непримиримые враги. Эта интеллигенция хочет жить в истории. Это законное стремление. Единственный способ помочь им в этом — выгнать их в арабские страны, где они займут желаемое место или погибнут; или дать им собственное государство. В еврейском государстве они не смогут реализовать свои стремления. Что касается газанцев, которые хотят попросту есть, то их проблему нужно решать в социально-экономическом плане. И я думаю, что пути для этого существуют. Наконец, что касается беженцев, то нам опять-таки просто нечего с ними делать. Вся их молодежь амбициозна, свободна от мусульманской покорности судьбе, общается с израильтянами, и многие из них наверняка хотели бы стать израильтянами, могли бы ассимилироваться в израильском обществе. Но израильское общество для этого мало. Оно уже и русских, и эфиопов не может полностью ассимилировать, потому что перевалило за предел плюрализма. Вообще говоря, в дальней перспективе они могли бы ассимилироваться, но сейчас мы их обособленно боимся и не допускаем; и вот это — наша вина, которую мы должны признать. Арабы же предлагают им более величественный путь — умереть за великое дело, и они еще настолько пленены арабской ментальностью, что этот путь для них достаточно соблазнителен. Арабский мир стремится ассимилировать их духовно, но отказывается ассимилировать их физически. Мы же должны хотеть эту группу «разбросать», превратить в обыкновенных граждан со всеми правами; когда они превратятся в таких граждан, у каждого появятся свои интересы и стремления, они перестанут быть единой группой. Но тут проблема состоит в том, что они сами этого не хотят. Никто ни разу не сказал правду, — что только силой их можно выгнать из лагерей. Они там получают пособия ООН и бесплатное образование, и все это чрезвычайно ценят. Неизвестно даже, сколько из них просто самозванцы, к Палестине никакого отношения не имеющие. В результате непрерывно плодятся и воспроизводятся эта группа революционеров и радикалов мусульманского фундаментализма и «агентура европейской ментальности» в арабском мире. Именно из ее среды выходят те арабские профессора, которые сегодня живут в США или ФРГ. Повторяю: эта группа в принципе могла бы ассимилироваться в Израиле (или вообще в западном мире, как показывает пример тех же профессоров). В. Богуславский возлагает надежды на то, что у них появится секулярный национализм, который побудит их покинуть Израиль («22», № 57); но у них этот национализм не появляется, они либо стихийно тяготеют к арабскому миру, пытаясь его возглавить (и представляя для него страшную опасность), либо хотят просто вырваться из своего проблематического состояния чисто индивидуальным путем. Они — на распутье, и все эти двадцать лет Израиль мешал им выбрать свой путь. По отношению к Израилю они — в определенном смысле — наиболее близкая группа, но с другой стороны они же наиболее нам враждебны. Эта вражда порождена действиями той части израильского истеблишмента, которая вроде бы желала им блага, но исходила при этом из своих европейских представлений о благе и потому на самом деле толкала их назад, в арабское варварство, которое им нестерпимо. Даян запретил им политическую деятельность и все время хотел вернуть их Хуссейну. А этот вариант они ненавидят всей душой. Так же, как сегодня «иорданский вариант» Переса. Они наконец-то вырвались из прежнего положения, а мы хотим вернуть их обратно в гетто. У Хуссейна они не будут гражданами первого сорта. Поэтому у них действительно единственный путь — свое государство. Не случайно выразитель настроений этой группы Нусейба говорит, что приветствовал бы даже израильскую аннексию: она для него лучше возвращения под власть Хуссейна, который его повесит. Или аннексируйте, — говорят они, — или дайте нам собственное государство, третьего они не хотят. Поэтому наш вариант: отдать территории Иордании вместе с арабами — **такая же жестокость и несправедливость**, как ими

управлять. Сейчас, может быть, даже большая. Это хуже, чем несправедливость, — это предательство. Мы хотим вернуть их туда, куда они не хотят. Именно поэтому выбор между отдачей территорий или их аннексией — не имеет решения в рамках морали: оба варианта несправедливы и аморальны. Нравственного, с либеральной точки зрения, варианта здесь нет.

С кем же мы можем поговорить, какая группа заинтересована в мире с нами? Мы, со своей стороны, все до единого заинтересованы в мире, даже те, кто стоит за неделимый Израиль. Кто же заинтересован в мире с другой стороны, и с кем мы хотим заключить мир? Разговор о том, что у нас нет партнера, более серьезен, чем думают. Иордании или Саудовской Аравии выгодно нынешнее состояние. Они наслаждаются миром. Война грозит только нам. Ведь она не начнется, если они не захотят. Они даже фактически торгуют с нами. Зачем им формальный мир, который их свяжет по рукам и ногам? Да еще даст возможность евреям беспрепятственно разъезжать по их странам. Они приезжают к нам, когда хотят. Считается, будто Хуссейн хочет мира, потому что хочет территории. Но в действительности ему не нужны эти территории, его страна все равно живет на саудовские субсидии, производительной она от присоединения территорий не станет. Египет давно уже заявил, что ему не нужна Газа. И уж точно никому не нужны опасные палестинцы. Тогда у нас остаются только три опции: все-таки как-нибудь всучить территории Иордании; отдать их палестинцам; или оставить их себе. Первая опция, как я уже сказал, безнравственна; но она еще и приведет к кровавой бойне на наших границах, которая кончится победой самых крайних элементов и в которую нам поэтому придется вмешаться; все кончится тем, что эти территории снова окажутся в наших руках. Во втором варианте возникнет конфликт между феодальной структурой и радикальными, европеизированными беженцами (сейчас вспышку этого конфликта еще сдерживает израильская администрация; но они уже и сейчас люто ненавидят друг друга); этот конфликт тоже приведет к гражданской войне, в ходе которой они обратятся к соседям, и нам опять придется их завоевать. Таким образом, куда бы мы ни кинулись, нас всюду ожидает один и тот же грандиозный вызов: необходимость освоить и ассимилировать большую арабскую группу, принять ее в какой-то форме в свои объятия. Это ужасно. Мне это безумно несимпатично. Я всей душой против наличия большой арабской группы внутри Израиля. Я не хочу с ними сливаться. Демократический, европейский характер нашего государства от этого страшно пострадает. Но я не вижу иного варианта. Есть, впрочем, еще один вариант, который, однако, не может осуществиться из-за нашего либерализма: если бы мы осознали себя военной ордой, отделились от них железной стеной, но стеной подвижной — как только нужно. мы ее подвигаем в их сторону, в сторону их государства. Но мы на это не способны; как только мы заключим мир, наши евреи немедленно откажутся вмешиваться в их дела. Мой вариант не означает, что мы должны эти территории аннексировать вместе со **всеми** их жителями: в ходе реальной политической борьбы, возможно, удастся от каких-то из упомянутых групп отделаться. Ведь мы не слепые участники исторического процесса и должны бороться за наш, более европейский облик будущего. Тем, кто останется, можно предоставить гражданство, — но лишь тем, кто этого захочет. И меня не волнует, что кто-то останется израильянином второго сорта — я уже говорил, что проблема здесь не в том, чтобы восторжествовала абстрактная справедливость или абстрактная мораль. В этом смысле меня не пугает даже идея трансфера; я не принимаю ее лишь потому, что она неосуществима технически. И в этом вся суть проблемы. Дело не в том, чего мы хотим. Надо искать, что мы можем.

Я не хочу уходить в политические детали, вроде того, аннексировать или не аннексировать территории, дать или не дать палестинцам полноправное гражданство. Вызов, стоящий перед нами, совсем не в этом. Его нужно рассматривать в том более широком онтологическом контексте, с которого я начал. Мы находимся на острие христианско-мусульманского, европейско-арабского конфликта. И до тех пор, пока мы будем ощущать себя прикованными к европейскому миру, выхода мы не найдем. Для того, чтобы принять и реализовать намеченный мною выход, нужно отказаться от многого в нашем прошлом. Мы сможем ассимилировать часть арабов только в том случае, если частично ассимилируемся среди них сами. Мы перестанем быть чистыми европейцами, мы станем промежуточной группой не в географическом или политическом смысле, а в культурно-историческом. Станем той промежуточной цивилизационной группой, которая, быть может, призвана осуществить их конечное примирение, которая, быть может, имеет поэтому большую жизнеспособность, чем обе они в отдельности. Быть может, это и есть еврейская миссия, — но тогда она заставляет понимать нашу «избранность» не в моральном, а в культурно-историческом смысле. Ведь был же когда-то иудаизм исходной колыбелью этих двух культур, которые из него произошли. И следует понимать: такой выбор не означает измену нашему еврейству, еврейскому характеру государства. На самом деле он означает возвращение к **подлинному еврейству**. Сегодня все мы, пришедшие из Европы, вовсе еще не евреи, мы в значительной мере еще христиане. Подлинное еврейство, еврейство для себя, всегда имело те элементы, из которого выросло и мусульманство. Сегодня оно имеет многие элементы христианства, но не имеет никаких элементов мусульманства. Даже сефарды в арабских странах больше тяготели к европейской культуре. Поэтому возвращение к подлинному еврейству означает угрозу для чересчур оголтелых европейцев среди евреев. Но оно не означает утраты еврейского характера нашего государства. Даже принятие арабов не означает такой угрозы: ведь это **им** придется приспособливаться к **нашему** государству, не наоборот. Я не предлагаю немедленно дать им полноту гражданских прав, напротив, я за то, чтобы сколько можно — не давать. И всячески сопротивляться левантизации. Но в отдаленной перспективе я не могу не

признать, что они все равно внедрятся в нашу среду. И в этой отдаленной перспективе израильтяне станут непохожими на американских евреев. Это будет другой народ.

Если же говорить о политических перспективах, то я думаю, что это нынешнее восстание явилось серьезным историческим уроком. И я надеюсь, израильские лидеры его поняли. Когда, в результате всех нынешних маневров, окончательно выяснится, что арабские лидеры не хотят решать этот вопрос, ответственное израильское правительство вынуждено будет принять закон о статусе территорий. И разработать инструкции, которые дадут палестинцам такой уровень прав, который позволит им существовать. По крайней мере, беженцам. Поскольку их не возьмет ни одна арабская страна, нам самим придется взять их на свое обеспечение; видимо — вместе с территориями — или с какой-то их частью (если Хуссейн, жаждая американской помощи, заберет другую часть вместе с ненужными нам палестинскими группами, готовыми с ним ужиться). И это будет грандиозный исторический шаг. Предпринять его должен (и может) именно Израиль. Мы сами загнали их в тупик, мы сами должны их оттуда вывести.

Конечно, мы можем — чисто технически — и дальше сохранять статус-кво; но этим мы только готовим следующий раунд борьбы. Аннексировать все территории, как призывают сторонники неделимого Израиля, тоже технически возможно; но израильское общество на это не готово, оно с этим не согласно. А поскольку политика — искусство возможного, значит, — это невозможно. Кроме того, нам попросту нечем заселить эти территории. Ведь **ночевать** в Сануре, в этой деревне художников, недавно созданной В. Богуславским, — это не означает **заселять** территории. Нас могла бы спасти от всех проблем только большая алия из России, Европы и Америки. Тогда опасность арабизации отошла бы на задний план, а для удержания территорий появилась бы мощная моральная мотивация.

* * *

Программы всех политических партий составлены так, что на равных основаниях включают реальные условия и требования соответствующих групп населения, и утопические пожелания, характеризующие только уровень наивности основателей. В жизни люди не отличают объективных закономерностей от своих пожеланий. Когда они требуют справедливости, они не учитывают, что справедливость, возможно, не в их пользу. Как сказал однажды Омар Хайям: «Если бы небо справедливо распределяло удачу, быть может, ты бы никогда ее не дождался». Де-Голль, уступивший в войне с Алжиром и впустивший всех желающих алжирцев во Францию, не знал, что этим он подготовил сегодняшнюю ситуацию, в которой 15 процентов проголосуют за фашизм. Так и у нас, когда Херут провозглашал свой лозунг: «Израиль в исторических границах» — вероятно, не все его члены ясно себе представляли, что они, в сущности, обрекают нас на бинациональное государство. А когда Мапам говорит о необходимости компромисса и отступления, вряд ли они понимают, что именно эти их требования исключают возможность заключить приемлемый компромисс. И участники «Мира сегодня» вряд ли осознают, что увеличивают вероятность войны. Ибо от войны нас защищает не добрая воля с обеих сторон, а трезвая оценка военной опасности, по крайней мере, с одной из них.

Когда я говорю о том, как я вижу ситуацию, я сознательно избегаю своих собственных пристрастий. Я не хочу сливаться с арабами и предпочел бы сугубо европейский облик нашей страны. Я уверен, что арабский труд подрывает трудовую мораль в нашей стране и искусственно задерживает наш технический прогресс. Я думаю, что сосуществование с арабами погружает нас в пучину коррупции, из которой еще неизвестно, вынырнем ли. Но я не могу не видеть, что нам некуда от них деваться, и мы должны приготовиться к этому. Я не могу ощутить сочувствия ни к правым, которые призывают эту напасть на нашу голову, ни к левым, которые надеются, что закрыв глаза, мы лучше увидим наше чудесное спасение, то есть уступив арабам, удовлетворим и остановим их наступательный пыл. Я думаю, что мы должны отталкиваться от арабов настолько, насколько это возможно, но сохранить довольно здравого смысла, чтобы угадать меру возможного и не опрокинуть это море себе на голову. Всякая беда содержит и хорошую сторону. Тесное сосуществование с арабами, может быть, научит нас ценить евреев и сплотиться теснее. В конце концов, Израиль был создан и сорок лет сохранялся благодаря чуду. Я уверен, что чудо произойдет и сейчас и спасет нас. Как сказал великий математик Даламбер: «Полагаться на Божью волю — вовсе не значит строить на шатком основании».

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТВОРЧЕСКОМУ ИУДАИЗМУ

Два тысячелетия безраздельного господства в еврейской жизни завели, мне кажется, иудаизм в тот тупик, где он сейчас находится. Тот факт, что в результате нынешних выборов верующие впервые по-настоящему вмешались в политический процесс и пытаются всерьез повлиять на жизнь секулярного Израиля, дает им возможность реально столкнуться с неуступчивой действительностью. Подобно сионистам начала века, они сейчас «возвращаются в историю» — со всей вытекающей отсюда неизбежностью ответственности в действиях и компромисса в политике.

Поскольку я ощущаю в себе запас сочувствия к еврейской религии, мне больно видеть, в чьих руках она сейчас находится. Ее лидеры стоят сегодня дальше от подлинного иудаизма, чем многие

секулярные евреи. Секулярный еврей моего склада, даже самый далекий от веры, всегда сохраняет некоторый агностицизм, оставляет место сомнению, допуская, что Бог, возможно, существует, что не все управляется рационально познаваемыми законами и так далее. Единственные, кто не оставляет места никакому сомнению, — это сами религиозные круги и их лидеры. Между тем иудаизм, который мне знаком, весь построен на сомнении, на предствлении, что Божья воля по-настоящему непознаваема и осуществляется непонятными и неясными для людей путями. Для секулярного еврея моего склада особенно огорчительно, что нынешние религиозные лидеры отошли от тех принципов иудаизма, которые более всего дороги мыслящему человеку вообще, поскольку эти принципы способствуют свободному человеческому творчеству, стимулируют его — как например, в высшей степени освобождающий принцип «не сотвори себе кумира». Меж тем наши ортодоксы даже в таких мелочах, как одежда, продолжают следовать мертвой букве некоего давнего закона (отнюдь не Торы), сделав из нее настоящий кумир. Верно, что иудейская традиция рекомендует скромную (тогда это означало — черную) одежду. Но сегодняшняя одежда ортодоксов в высшей степени нескромна в современном обществе — она экзотична. Как китайские рестораны. Она подчеркивает их особость и даже некоторое запланированное превосходство — задача, совершенно противоположная первоначальной (как и китайские рестораны), — превращаясь в удовольствие для гурманов, свидетельство некой элитарной эстетики. Сохранение такой одежды может быть принято, как эстетическая причуда, — у всех народов есть экзотическая национальная одежда — но превращение этого маскарада в добродетель означает уже создание себе кумира, нарушение заповеди. Самое опасное в этом следовании мертвой букве состоит в том, что оно исключает возможность изменения обычая в соответствии с меняющейся действительностью. А действительность требует от нас изменений.

До разрушения Второго Храма руководство религиозным истеблишментом принадлежало садуккеям, следовавшим лишь букве Закона и унаследованному обряду. В течение почти двух столетий с ними враждовали фарисеи — от слова «перуш», толкование, — творческое течение в иудаизме, которое стремилось понять и объяснить Смысл закона в контексте меняющейся действительности. На пути этого объяснения и интерпретации им пришлось во многом отступить от буквы закона, чтобы соблюсти его смысл. Вместе с разрушением Второго Храма погибло и все течение садуккеев, сосредоточив вокруг Храма и исполнения обряда все свои духовные интересы. Современное еврейство произошло от фарисеев, учение которых было впоследствии развито и подтверждено в Талмуде. Садуккеи погибли вместе с Храмом и не были вынуждены отчитаться перед народом. Народ вывели из Катастрофы и спасли от гибели фарисеи. В течение многих веков это было творческое, развивающееся направление мысли, обеспечивавшее еврейский народ гибким интеллектуальным руководством, которое вело его по правильному, разумному с точки зрения запросов жизни пути. История так называемых «темных веков», с пятого по одиннадцатый, — это также история роста и процветания еврейства во всех странах средневекового мира. И где-то здесь, наряду с ростом богатства и процветания, опять выросли консерватизм и обрядоверие, которые заложили семена будущих катастроф. Талмудический иудаизм в силу многих исторических причин, отнявших у еврейского народа государственное существование, освободился от необходимости приспособляться к действительности, но приобрел безраздельную земную власть над душами и частичную власть над телами евреев. Даже примитивному шаману приходится плохо, если от его камлания не происходит необходимого его племени дождя. Но когда религиозные лидеры освобождаются от реальности полностью, потому что вся судьба их народа оказывается в чужих и чуждых руках, их собственной власти уже ничего не угрожает. Они переносят всю ответственность за судьбы евреев на Небеса, а все надежды — на Чудо. Таковы поздние интерпретации событий Хануки и Пурима, из которых, в сущности, вышелушен весь элемент творческой активности и ответственности самого народа за свою судьбу. Духовное руководство иудаизма, таким образом, опять становится садуккейским по сути, лишь формально выполняющим заповеди. И судьбой евреев, начиная с одиннадцатого-двенадцатого веков, становятся систематические погромы и катастрофы, не сдержанные никаким осознанным сопротивлением.

В наших сегодняшних религиозных кругах не случайно избегают обсуждать уроки Катастрофы европейского еврейства. Главный урок этой Катастрофы — это аргумент против их неспособности учитывать реальность. Это был страшный удар по всей прежней организации еврейской общественной жизни, не включавшей вопросы существования.

Предотвращению этого урока мог послужить сионизм. Но религиозное руководство не только не смогло само найти этого ответа на угрозу, но и отчаянно боролось против тех, кто такой ответ подготавливал. Этим оно обезоружило еврейский народ перед одним из самых страшных испытаний в его многовековой истории.

Полная свобода от реальности, как ни странно на первый взгляд, неизбежно ведет не к развитию, а к застою. Ведь свобода сама по себе вовсе не является главным стимулом творчества — она является всего лишь его условием, необходимым, но недостаточным. Главным стимулом творчества является действительность, грубо говоря — необходимость: голь на выдумки хитра. Вот почему я надеюсь, что теперь, в столкновении с действительностью, религиозные круги получат стимул вернуться к творческому иудаизму. Когда им не удастся — а я очень надеюсь, что им не удастся — с помощью парламентских махинаций добиться денег на свои ешивы, на освобождение своих учащихся от армии и так далее, им придется искать другие пути и учиться компромиссу в постановке целей.

Кстати, в требовании от налогоплательщиков денег на ешивы, как и в требовании освобождения их учащих от армии содержится также и измена смыслу творческого иудаизма, как он запечатлелся в Талмуде. Пожертвовать на обучение способного мальчика Торе означает совершить мицву, а вот вымогать деньги с налогоплательщика — означает лишить его заслуги в этом Богоугодном деле. К тому же в прошлом жертвовать следовало только для самых способных, которые могут обогатить нашу общую еврейскую сокровищницу, а не для всякого, кто готов «превратить Тору в лопату». Обязанность изучать Тору не снимает с человека обязанности кормить семью и защищать страну. Я думаю, что участвующие в защите страны лучше понимают дух Торы, чем те, кто только сидят над книгами. Тора была дана тем, кто держал в руках оружие — «600 000 человек, носивших меч».

Сегодня религиозно-политические лидеры — еще весьма наивные, неискушенные люди, неумелые политики, порой даже вызывающие симпатию этой своей наивностью и откровенностью. Например, рав Перетц, лидер партии Шас. Это был единственный политик во всей предвыборной кампании, который вдохновенно и искренне говорил то, что думал. У них, конечно, есть утопическая мечта о теократии. Является ли эта мечта одновременно и их стратегией — я не уверен до конца, хотя могу думать, по их политической наивности, что это так. Им кажется, что они действительно могут достигнуть этого идеала уже в ближайшее время. Многие религиозные люди, с которыми я сталкивался, искренне считают свои аргументы абсолютно убедительными. Это меня тоже поражает. Это свидетельствует о большой интеллектуальной, а не только политической неискушенности. Это не похоже на еврейскую мудрость. Но я хотел бы подчеркнуть другое. Эта наивность, неискушенность, односторонность являются вообще признаками людей, веками не участвовавших в общественной жизни. Не удивительно, что это проявляется. Но именно поэтому я не вижу в них большой опасности — не больше, чем от социалистов, у которых ведь тоже есть своя утопия. На свободе от действительности вынашиваются самые крайние, самые радикальные утопии, это вполне естественно, но столкнувшись с действительностью, люди вынуждаются к компромиссу, в том числе и в своих идеалах. Не в том дело, что религиозные утопии опасны, а в том, что как всякие утопии, сочиненные без учета действительности, они нереализуемы. В ходе практических компромиссов будет меняться и утопический идеал. Более того — будет меняться, в формулировках и понимании, и сама та Галаха, на которой этот идеал основан. Она не может не измениться. Талмуд полон решений, которые возникли как результат компромисса с реальностью. С тех пор прошло двенадцать веков — не может быть, чтобы решения оставались такими же. А если снова возобновится путь творческого компромисса — как в практическом, так и в теоретическом плане, — то вместе с борьбой за достижение своих целей будут меняться как наши религиозные круги, так и их цели.

Как все люди, религиозная группа в Израиле действует по инерции прежнего опыта, а этот опыт подсказывает ей, что чем больше требуешь, тем больше получаешь. Но тут есть предел. Когда количество освобожденных от армии ешиботников перейдет этот предел — они не получат ни одного освобождения. Рано или поздно они осознают, что если требовать слишком много, то не получишь ничего. Талмуд говорит прямо, что «нельзя превращать Тору в лопату», то есть в средство заработка. Сегодня многие религиозные евреи зарабатывают продажей всевозможных амулетов, но скоро, по мере увеличения их численности, им придется взяться за ум — и за лопату. И это изменит весь облик религиозного лагеря. К сожалению, до сих пор ни их участие в политике, ни отношение других партий не поощряли религиозный лагерь к такой перестройке. Единственная тактика других партий состояла в бесконечных уступках, то есть попытках откупиться или в попытках обойти. И то, и другое означало, что религиозных не воспринимали как равных партнеров. Они были примерно тем, чем негритянское меньшинство в Америке — им создавали «положительную дискриминацию», то есть давали льготы, деньги, лишь бы забыть об их существовании. Как равных их не воспринимали.

Поэтому я думаю, что нам нужно не огорчаться, а приветствовать превращение религиозных партий в «третью силу», с которой уже нельзя не считаться. Они вышли на такой уровень, который и их самих заставляет задуматься о своем пути, и остальные партии — осознать, что они — реальный и опасный соперник. Но это не означает, что их следует опасаться, как врага: напротив, это означает, что они — люди, равенство которых и идеи которых следует принимать всерьез, с которыми следует бороться на равных — в частности, перестав откупаться от них снисходительными и унижительными уступками. Я вижу в этом большой прогресс израильского общества. Я надеюсь, что это подтолкнет развитие нашего религиозного лагеря: верующие начнут участвовать в общей демократической «игре»; их лидеры перестанут быть абсолютными властителями даже и своей паствы; это повлияет на все наше общество в сторону сближения секулярного и религиозного населения. Во-вторых, это повлияет на все общество и в том смысле, что возникнут какие-то новые варианты и новые «гибриды» мысли, которых не было прежде. И наконец, что мне кажется очень важно, возникнет правильное соотношение между сионистскими и несионистскими интересами больших партий, которые так привыкли, что сионизм и они — это одно и то же, что все больше и больше подменяют одно другим. Когда Маарах вступает в переговоры с несионистской Агудат Исраэль, это показывает, что и у Маараха есть несионистские интересы. Это не только сионистская партия, но и государственная партия, которая имеет интересы вне сионизма. Будь они только сионистами, их сионизм должен был бы заставить их сразу же объединиться с Ликудом перед угрозой несионистских ультраортодоксов. Но я вижу, что именно молодые в этих партиях особенно яростно выступали против объединения. Перес и Рабин во имя сионизма еще готовы на объединение со своим злейшим

врагом (Ликудом) — а Бейлин уже не готов. Поэтому я думаю, что появление на сцене этого третьего, несионистского элемента может обновить также и израильскую политическую жизнь в целом. Бейлину уже за сионизм теперь не спрятаться.

Есть и другая сторона в произошедшем, уже выходящая за рамки чистой политики. Как всегда, корни нынешнего состояния иудаизма уходят далеко в прошлое. Евреи веками выступали перед христианским миром как единое неразличимое целое, и именно это привело к тому, что религиозные лидеры представляли от имени еврейства в целом. Христианство, столкнувшись с реальностью государственных образований, не сразу нашло в ней то место, которое оно занимает сейчас. Папы боролись с императорами за политическую власть, монашество требовало, чтобы общество их кормило. Вся Реформация была движением, направленным против пап и монахов. Ничего этого еврейство не пережило, вся эта история прошла мимо него. Теперь, в своем государстве, оно ускоренно проходит тот же курс.

Конечно, христианский путь развития не единственно возможный: существует, например, исламский путь — без централизованной церкви и без монашества. Но я уверен, что иудаизм на своем пути внутри собственного государства встретит те же этапы, что и христианство, — хотя ответы наверняка будут иными. Сегодня христианство по сути уже превратилось в философию, которая ничего не требует от образа жизни, — что-то вроде реформистского иудаизма. Но я не думаю, что иудаизм обязательно должен пойти по этому пути. Ислам тоже показывает, что можно обойтись без громадного монашества — а ведь наша ортодоксия в сущности превращается сегодня в такое монашество внутри израильского общества. Претендуя на избранность, монашество это присваивает себе одному право на духовное совершенствование, оставляя за неверующими только право оплачивать это совершенствование. Это противоречит духу иудаизма, который всегда требовал, чтобы индивидуальное совершенствование шло параллельно совершенствованию всего общества в целом, чтобы мудрецы уделяли часть своей мудрости остальным. Не случайно ортодоксы потеряли всякое духовное влияние на все остальное общество, более того — вызывают у него только раздражение. Они оторвались так далеко, что не могут дать никому примера. Они не могут научить обычного человека, как ему совместить потребность в духовности с практической необходимостью содержать семью. А когда они мне отвечают, что духовность мне обеспечит соблюдение мицвот, я не получаю тут ответа, обеспечит ли это мне семью. Ведь это только еврейскому народу в целом обещано, что святость его «спасет» — но не каждому отдельному еврею. Поэтому я и хотел бы поставить наших религиозных в наше положение — пусть окажутся перед необходимостью обеспечить семью, пусть вынуждены будут идти в армию, пусть найдут в Галахе такие уловки, которые позволят и им, и мне совместить святость, духовность с потребностями практической жизни. Вот тогда они духовно обогатят и свою, и мою жизнь. Я ведь не против соблюдения мицвот. В этом есть своя красота, своя эстетика. Сами по себе мицвот мне не противны. Мне противно идолопоклонническое отношение к ним. Поэтому я ни за что не присоединюсь к тем, кто повторяет все эти движения, не понимая, что они означают. И не присоединюсь к тем, кто понимает сам, поощряет это обезьянничанье в других. Если бы религиозный истеблишмент относился к мицвот, как, например, профессор Лейбович, мне ничего не мешало бы тоже соблюдать мицвот. Поэтому я думаю, что если религиозный лагерь и его лидеры, столкнувшись с реальной жизнью, найдут в себе силы изменить подход, обновить понимание Галахи и предложить себе и нам новые пути, совмещающие подлинную духовность с подлинной современностью, они сделают великое дело — вернут духовность в нашу жизнь. Они и сегодня, сами того не хотя, уже сделали первый шаг на этом пути. Самим своим появлением на политической сцене, своими требованиями, апеллирующими, что ни говори, к духовному началу, они напомнили обществу, что не единым хлебом жив человек. Что не только вопросы войны и мира должны занимать наше внимание — тем более, что эти вопросы вообще не в наших руках: как бы мы себя ни вели, мир с арабами совершенно от этого не зависит, потому что от нас требуют, чтобы мы встали на колени, а какую-то часть евреев это не устраивает. Нынешние выборы напомнили, что главные вопросы нашей жизни — это зачем нам жить, как государству? Почему мы не хотим встать на колени? Что такое наше еврейство? Они напомнили, что духовные вопросы по-прежнему стоят на первом плане в еврейской жизни. Тот факт, что сами победители не так уж духовны и ради по-своему понимаемой духовности готовы на самый отвратительный меркантильный торг, ничего в этом выводе не меняет. Это просто их и наше несчастье. Это несчастье, потому что буквализм, идолопоклонство и подчинение безраздельной власти — даже и во имя духовности — поощряют рабское начало в человеке, а рабство противно самому духу иудаизма. Ибо в конце концов, как учит Тора, человек создан свободным и потому каждый должен и имеет право сам отвечать за свою жизнь. Остается надеяться, что столкновение с действительностью заставит наших религиозных лидеров в будущем, — быть может, удаленном — понять эту центральную идею еврейской духовности, измениться самим в ее сторону и тем самым изменить наше общество — ведь возвращение наших ортодоксов к подлинному творческому иудаизму может открыть дорогу к нему и для многих секулярных израильтян, и для израильского общества в целом.

МЫ МЫСЛИМ ЛИШЬ ПОСКОЛЬКУ МЫ СУЩЕСТВУЕМ

Израильские интеллектуалы часто с любопытством, иногда с удивлением, а порой и раздраженно, спрашивают: «Почему русские такие правые (в политике)?», или: «Отчего среди русских олим так много религиозных?», или даже: «Почему русские так нетерпимы (в споре)?» Разумеется, эти расхожие стереотипы не вполне отражают действительность. И первый, легкий ответ на последний вопрос может быть очень прост: «Ну, нетерпимы, например, потому что плохо воспитаны», — однако это неполный ответ и обе стороны это знают. Сами вопросы и это любопытство отражают тот несомненный факт, что мы «русские», — другие, и наше отличие коренится глубже, чем в политических взглядах или в манере поведения. Мне кажется, наше отличие коренится в нашем другом отношении к миру. Это отношение сформировалось под влиянием совершенно отличного опыта детства. Раннего опыта, в котором содержится весь человек. Или почти весь. Вордсворт в XIX в. утверждал, что «дитя — отец человека». А Борис Пастернак, в XX-м, говорил, что «детство — это яркий пример парадокса, когда часть больше, чем целое».

Журнал «Мознаим» в прошлом году опубликовал интересное эссе Йорама Брановского о детстве. Вот что он пишет о себе:

«Я считаю, что у меня совсем не было детства... Детство — это миф и выдумка поэтов. Они сначала открыли любовь, а потом — в тех же поисках оригинальности — детство, все для того, чтобы было им, о чем петь... Но я повторяю: не было ни леса, ни медведей... Родители мои хотели все начать сызнова... И все было с самого начала, ничего от национального или религиозного. Совсем. И так это прошло, с головокружительной скоростью... поездки в деревню, несколько детских болезней... почти ничего... весь я — плод позднего чтения я путешествий, что вовсе не вели меня в страну детства, скорее — в те места, которые составили основу культуры моей — в Грецию и Италию... Мир видится мне временами как шутка или сумасшествие, и почти всегда он видится мне, как почти несуществующий. Я... не верю, что он существует. И я связываю это с несуществованием моего детства...». Боюсь, что это типично для сегодняшнего западного интеллектуала и захватывает многих израильтян. Я рад, что пришел из глубокой провинции и ощущаю себя иначе. Может быть, это поможет мне найти в Израиле родственные души, для которых собственное детство, существование мира и наше существование в нем — еще не пустой звук. Я очень надеюсь встретить здесь тех, чье детство было продолжительным и плодотворным.

Советская власть лишила нас многих культурных достижений человечества. Мы испытали голод, холод и неволю. Многие из нас она лишила также и родителей... Но было бы несправедливо сказать, что она отняла у нас детство. Напротив, она одарила нас детством прочным и продолжительным. В сущности, мы так никогда и не изжили его до конца...

В раннем возрасте я немного заикался. Врачи рекомендовали родителям побуждать меня учить и декламировать стихи. Я декламировал со страстью:

«Климу Ворошилову письмо я написал:
Товарищ Ворошилов, народный комиссар!
В Красную Армию, будущий год,
В Красную Армию брат мой идет!»

Как хорошо был организован наш детский мир! Проникновенные эти стихи, написанные еврейским поэтом Л. Квитко, вдохновенно переведенные на русский язык поэтом-евреем С. Маршаком (и нас еще смеют упрекать в недостатке еврейского воспитания!), рисовали такую гармоническую картину... Были там, конечно, присутствовали и злые силы:

«Слышал я: фашисты задумали войну —
Хотят они разграбить Советскую страну...»

Но мы не дадим! Не выйдет! Каких бы это ни стоило жертв, даже жизни брата:

«Товарищ Ворошилов, когда я подрасту,
Я стану вместо брата с винтовкой на посту!»

Не было у меня никакого брата. Я, как и большинство моих сверстников, был единственным ребенком, родившимся в голодные годы и вскормленным искусственным молоком. Но идея нерушимой верности силам Добра пронизывала мое золотушное существо до самых печенок. и я любил моего несуществующего, самоотверженного старшего брата неземной любовью.

Если бы я знал, что мой старший брат пал, в действительности, жертвой аборта! Если бы я знал, что всего через год товарищ Ворошилов горячо пожмет руку Риббентропу! Если бы я знал, что и самого Квитко всего через десять лет расстреляют ни за что, ни про что... Мы оба, Л. Квитко и я, ничего не знали об этом и были счастливы...

Я не шучу. Я хочу сказать, что у нас было все необходимое для счастливого детства. Потому что для счастливого детства необходима только уверенность в незыблемости нашей системы координат. И она у нас была.

Наши родители тоже «хотели все начать сызнова». И все у нас тоже было «с самого начала, ничего от национального или религиозного». Но страна и режим обеспечили нас Абсолютами, и наше детство оказалось долгим и полным смысла. От пяти до десяти, когда началась Война и нас

понесло в Сибирь, подальше от смерти; от десяти до пятнадцати, когда я вышел из исправительного лагеря, и меня понесло из Сибири, подальше от тюрьмы, прошли две большие, наполненные событиями жизни, каждая из которых не короче моих следующих сорока взрослых лет, прошедших в разных городах и странах. В сущности, я с трудом могу себе представить, как это я перешел от того бесконечно длинного, осмысленного периода, который обычно называется детством, к тому чересчур поспешному мельканию, в ходе которого так быстро утекает моя взрослая жизнь. И как от чувства уверенности и единственно правильного выбора, которое превалировало у меня в детстве и юности, я все чаще стал переходить к бесконечным колебаниям и чувству вины, которые отравляют нам нашу короткую взрослую жизнь.

Человек — это существо, родившееся с жаждой абсолютного. Советское воспитание, несмотря на поверхностный атеизм, эту потребность удовлетворяет. Оно внушает ребенку абсолютное сознание своей правоты, и это сознание, как потерянный Рай, навеки преподносится нашему мысленному взору, давая силы верить. Опыт гармоничного мировоззрения навсегда остается идеалом, быть может и неосуществимым, по которому, однако, обречена тосковать душа взрослого. Мы, русские выходцы, все надеемся найти и определить в реальном мире «правильную» позицию. Смешно, не правда ли? В нашей алии присутствовала и детская мысль встретить в израильтянине потерянного «старшего брата», который защитит и объяснит. Который «не выдаст...»

Неизбежное с возрастом разочарование в Советской и всякой иной земной власти нисколько не могло повредить нашему здоровому идеализму, ибо ребенку с возрастом естественно менять свои представления. В том отчасти и состоит детство...

Нам еще не исполнилось по четырнадцати лет, когда мы осознали, что власть в СССР находится не в руках рабочего класса. Такого отклонения от ленинизма мы потерпеть не могли и должны были бороться. Нас было семеро мальчиков и одна девушка. Хотя в нас и не было «ничего от национального или религиозного», мальчики, все как один, оказались евреями и только девушка... О, русские женщины! Впрочем, случай задуматься об этом нам представился уже только в тюрьме. Семеро — это очень много, но все же ни один не выдал. Нас поймали по результатам нашей деятельности, которая состояла в том, что мы сочиняли и разносили по городу рукописные листовки клеймившие неравенство и несправедливость и призывавшие народ к восстанию. Восстания не произошло. КГБ стоял на страже. Во всех школах города провели графическую экспертизу, и наши почерки идентифицировали. В тюрьме кончилось наше детство и укрепилось чувство самосохранения. Тов. Ворошилов тогда уже утратил свой ореол, но Л. Квитко еще не был расстрелян. Среди других политических заключенных, которые жаловались, что они сидят ни за что, мы резко выделялись сознательным характером своего «преступления». Никто из нас не захотел признать своей неправоты или хотя бы относительности коммунистического идеала справедливости. Нашему душевному здоровью всерьез повредила бы мысль, с которой многие западные интеллигенты, по-видимому, с детства сроднились: «абсолютной правоты, истины, а быть может и мира вообще не существует». Такому взрослому, безрадостному знанию не позавидуешь. Людям, в которых такое знание прочно поселилось, приходится совершать поистине героические философские усилия, чтобы обосновать понятие верности. Хоть чему-нибудь. Ясно, что они уже не могут стать старшими братьями. Кому бы то ни было...

Конечно, нетрудно понять, что этот поспешный релятивизм есть европейская реакция как раз на идеологическое оболванивание. На тот идеологический тоталитаризм, который так широко разлился по Европе два поколения назад, произведя на свет два сходных, но враждебных друг другу чудовища: германский нацизм и советский коммунизм. Но ведь и чудовища эти родились на свет не из ничего. Они отвечали той жажде абсолютного, которой не было утоления. Они продлили детство человечества. Потому что человечество, не меньше, чем хлеба, хочет счастливого детства. В чем состоит долг взрослого? — Помочь ребенку принять сложность мира, не разрушив его уверенности в самом себе. Может ли это сделать человек, сам лишенный этой уверенности?

Когда я украл оловянных солдатиков на именинах у сверстника, полагая, что и так он получил достаточно подарков, родители не оставили мой поступок без последствий. В горечи познал я, что в гостях следует вести себя благородно и сдерживать свою жадность, такую естественную при виде множества хороших вещей, собранных вместе... Но вот настал час и моего торжества: на моих именинах другой мальчик начал лихорадочно рассовывать по карманам мои игрушки. Коршуном я налетел на обидчика и впился в него изо всех своих сил, удесятеренных сознанием правоты. Ведь я уже знал, каким должно быть благородное поведение на именинах, и мной руководили, конечно, самые лучшие чувства... Мальчишка заревел так, как будто это он поступал правильно, а я незаслуженно его обидел. Со всех сторон сбегались взрослые, остановить изверга. И я сам вдруг с первобытным физиологическим ужасом почувствовал, что его тело слишком жидкое для моих железных от правоты рук... Все же самое ужасное случилось потом. Мои родители опять приняли сторону противника! Они объявили, что мальчик был у меня в гостях, я был его хозяин, а хозяин, как известно, должен уступать гостям (а также слабым), чтобы доставить им удовольствие (а также достигнуть идеала благородного поведения). Такого предательства я от них не ожидал. Сквозь бурные рыдания прорвался мой мировоззренческий вопрос: «Если на чужих именинах я должен уступить, как гость, а на своих, как хозяин, то где, кто и когда уступит мне?»...

Я помню, что родители смутились. Они не планировали заходить так далеко в основания этики. Скорее всего эти основания не были им вполне ясны. Ясны ли они кому-нибудь из нас? Что-то родители, конечно, говорили насчет того, что, если я сейчас уступлю Васе, то впоследствии,

возможно, и Вася уступит мне. Впрочем, они, как и я, зная Васю, заранее понимали, что говорят чепуху. Нет, на самом деле, ответа на этот вопрос. Обоснования этики не могут быть найдены рационально. Взрослый человек живет в джунглях сомнения, в пустыне свободы...

Действительно, взрослость вселяет в душу сомнения. Сознание абсолютной правоты, как и состояние невинности, редко сохраняется до зрелых лет. Но эти сомнения даны нам не для того, чтобы идти в никуда, к бессмыслице, к смерти души. Сомнения даны нам для поиска, чтобы лучше взвесить свой выбор, чтобы расширить круг возможностей. Душа требует упорядоченности и красоты. Живая душа требует смысла. Сомнения прирождены мышлению, но они не составляют его результата. Когда мы приходим к результату, по необходимости несовершенному, возникающие у нас сомнения свидетельствуют вовсе не о бесполезности умственных усилий, а о необходимости их продолжать. Для интеллигенции — это профессиональный и одновременно гражданский долг. Если, вместо созидания, сомнение приводит к разрушению, интеллигент обязан осознавать, что идет не вперед, а назад. Человек отличается от скота своей жаждой абсолютного. Поэтому, когда мы разоблачаем относительность очередного абсолюта, мы делаем это не ради относительности как таковой. Мы делаем это ради другого абсолюта, высшего. Относительность Эйнштейна не разрушила гармоничную картину мира, а создала более совершенную. Своим названием эта теория сбивает с толку только профанов. У самих физиков вполне хватает детского оптимизма, чтобы верить, что они изучают реальный мир — и даже больше — что он «хорош», т. е. гармоничен. Они мыслят, эти физики, и **следовательно существуют**. Даже такой скептик, как Сартр, назвал эту максиму «абсолютной истиной познающего сознания».

Но мы, русские выходцы, сохраняем детскую уверенность в своем существовании и существовании окружающего мира, просто поскольку мы действуем. Действуя, мы начинаем также верить, что это наше необоснованное существование в мире — ценность. Таким образом, про нас скорее можно было бы сказать, что **мы мыслим лишь постольку, поскольку мы существуем**. Это гораздо меньше, чем Сартр признал бы за абсолютную истину, ибо логически не равносильно обратному утверждению. Однако, пусть гордится своей утонченностью тот, кому этого недостаточно. Мы приходим не «от позднего чтения и путешествий», а от наших родителей. Мы похожи на них вопреки раннему и позднему чтению, а также путешествиям в Грецию. В нашем «русском» национализме и религиозности нет «ничего от национального или религиозного», но зато сколько угодно экзистенциализма. В нашем правом консерватизме содержится ровно 50% левого радикализма. Ибо те же причины, которые на Западе склоняют к левизне, в России отталкивают вправо. И наша нетерпимость всегда включает способность принять самую неожиданную радикальную точку зрения. Просто наша манера и терминология сложилась в другом социальном климате и выбор, который Израиль нам предоставил, не соответствует нашему настроению. Наш экзистенциализм не культурного, западного происхождения, а полудикого, автодидактического, с русской достоинством из XIX в., замешанной на возвышенных мечтах о «хрустальном здании» всеобщего согласия вперемежку с социальным цинизмом, происходящим от жизненного опыта: «Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пух, что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения... Не все ли равно, если оно существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания?.. Я не успокоюсь на компромиссе... Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду...

Какое мне дело до того, что так невозможно устроить... Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели же я для того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель?» («Записки из подполья», Ф. Достоевский).

Цель, я думаю, действительно не в этом. Я думаю, цель, возможно, в том, что в Израиле открылась вакансия на замещение должности «старшего брата». Наше жестокое и трогательное русское прошлое обеспечило нас непотопляемой устойчивостью, которая при настоящих условиях может пригодиться.

Гуляя по чужим именинам и видя, как быстро растаскивают вокруг игрушки, которые могли бы принадлежать нам, да еще и выслушивая время от времени лекции о благородном поведении, мы с неприятным, издавна знакомым чувством ощущаем, как твердеют от правоты руки. Ну, устройте нам наши именины, дайте разок ощутить себя хозяевами, а уж потом требуйте уступок в пользу Васи! Кто знает, может, как хозяину, мне и впрямь захочется уступить...

В любом случае, наш детский эгоизм и острое чувство подлинности существования возвращают этику на ее реальную почву: наше право жить по своему образу и произволу предшествует гуманизму, национальным движениям и международным договорам. Напротив, наша экзистенциальная цепкость, не зависящая от политических убеждений, воля к абсолютной жизни приводят нас к гуманизму, толкают нас к сочувствию национальным движениям и, быть может, приведут и к международным договорам. Может, мы еще сгодимся израильтянину на роль «старшего брата»?

Р. С. «Романтический бред» — может быть, скажет Иорам Брановский. «Да, пожалуй. А почему бы и нет?» — отвечу я. «Но ведь все это уже не ново... да и кому это нужно?» — скажет он. «А я живу впервые, и это нужно мне».

ОТКЛИКИ

ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА

(Речь на II Всемирной Конференции Еврейских Общин в поддержку советских евреев в Брюсселе, 17 февраля 1976 г. Впервые опубликовано в ж. «Сион» № 14, 1976)

С конца 30-х и особенно после 40-х годов евреи не могли больше строить себе иллюзий относительно исчезновения антисемитизма в России и перестали рассчитывать в своей повседневной жизни на справедливое отношение, выдвижения по службе или любовь избирателей. Все силы старшего поколения и все способности младших в течение 20-30 лет были сосредоточены на профессиональной компетентности, как единственной неотъемлемой ценности, и образовательном уровне, как единственном пути к благополучию и самоуважению.

Действительно, в 60-х годах евреи занимали прочные позиции во всех областях, требовавших компетентного подхода, несмотря на заметную дискриминацию. Даже в системе советской пропаганды для них был выделен специальный участок — «Литературная газета» и научно-популярные издания — требовавший особой живости ума и эрудиции, где эти качества поощрялись.

Это непрерывное напряжение, эта воля к развитию привели к положению, при котором элитную группу — профессоров, писателей, музыкантов — можно рассматривать как репрезентативную. Не в том смысле, что они составляют большинство советских евреев, но в том смысле, что большинство хотело бы ими стать. Они как бы воплощают идеальный образ советского еврея, каким он представляется себе самому, «если бы обстоятельства не помешали его развитию».

Особенности психики этой группы присутствуют в зародыше у всех русских евреев, представляющих собою гораздо большее единство, чем это кажется на первый взгляд. В 20-х или 30-х годах, когда евреи в России были народом лавочников и парикмахеров, каждая еврейская мать мечтала, чтобы ее сын был инженером или врачом. В 40-х и 50-х это действительно произошло (сейчас около половины всех взрослых евреев имеют высшее образование), но матери уже мечтают, чтобы их сыновья стали профессорами и академиками. Все это время еврейский народ был похож на группу бегунов, растянувшихся после старта в длинную колонну, но сохраняющих единство поставленной задачи и направление движения. Рассмотрим настроение лидеров этого забега.

Большинство представителей лидирующей группы знает, что впереди их ожидает социальный и духовный тупик. Элитная группа не воспроизводится, и их особое положение в обществе не может быть передано детям. Громадные усилия, которые тратят еврейские родители на дополнительное обучение детей и закулисную помощь друг другу в этом вопросе, разбиваются о советскую дискриминационную систему. Статистика показывает, что число вновь поступивших в институты, приходящееся на одного человека с высшим образованием, среди евреев вдвое ниже, чем в среднем по СССР (данные 1971 г.), а по отношению к числу научных работников — в пять раз ниже. Барьеры теперь выше, чем способен перескочить средний, даже хорошо подготовленный юноша, и селекция перестала быть оздоровляющим фактором. ГРУППА деградирует и сыновья профессоров становятся сплошь и рядом даже не инженерами. Мы возвращаемся к народу парикмахеров и портных. Но это не просто возвращение...

Народ парикмахеров и портных, каким было русское еврейство начала века, имел богатейшую собственную духовную жизнь, которая была представлена не только десятками писателей, философов и тысячами раввинов, но и проникала во все сферы жизни портного и сапожника, давая ему некоторое утешение в его угнетенном и не слишком почетном положении.

Если русские евреи теперь станут парикмахерами и портными, они не смогут найти в своей жизни ничего, что поддержало бы в них искру духовности. Элита, добившись феноменальных профессиональных успехов во всех областях русской культуры и технической деятельности, не создала ничего, что могло бы объяснить простому человеку, почему он должен мучиться из-за «пятого пункта» (национальная принадлежность) и обрекать на это своих детей. Так как человек становится евреем в России не по своей воле (отметка в паспорте о происхождении родителей), у него одновременно отнято последнее утешение национальной гордости и не предоставлена возможность раствориться.

Успехи, достигнутые евреями в советском обществе, сопровождались внешней ассимиляцией и адаптацией нескольких идей, которые на первых порах казались связанными с советской идеологией и от которых советское общество фактически сейчас отказалось. Восприятие этих идей в абстрактной, внеисторической и вненациональной форме и определяет тот духовный тупик, в который углубляется ведущая часть советского еврейства и который осознается уже сейчас многими его представителями. Возьмем три идеи или принципа.

1. Предпочтение производственной сферы сфере потребления, доходящее до подчинения самой жизни человека нуждам производства.

2. Склонность рассматривать человека и его судьбу как средство к некоей великой цели, а историю как процесс, направленный ко всеобщему благу.

3. Интернационализм и стремление к миру между народами.

Я сознательно формулирую эти принципы таким образом, что они кажутся почти общечеловеческими. Их значение определяется конкретными условиями жизни в обществе и различно в России, Израиле или в других странах.

1. В советских условиях, где потребительская сфера очень ограничена, а продвижение по службе для евреев затруднено, производственные и творческие успехи превратились в единственный источник положительных эмоций, единственную веру и единственную надежду сотен тысяч людей. Эти люди так глубоко проникаются интересами своего производства, что их волнуют малейшие детали процесса и совершенно не интересуют взаимоотношения этого процесса с реальностью (им даже трудно себе это вообразить). Таким образом, многолетняя инерция приспособления к разветвленной экономике великой страны сделала многих рабами этой экономики, причем самое печальное не то, что они рабы этой экономики фактически, а то, что это рабство внутренне ощущается ими как ценность. Действительно, в том идеологическом вакууме, который существует в СССР, эта преданность производственным интересам может рассматриваться как форма духовности и заслуживает самого высокого уважения, но в среде элиты зреет восстание против этого невероятного сужения понятия духовной жизни.

Десятки профессоров физики и математики ломают голову над чисто гуманитарными проблемами, сотни писателей пишут в стол или для самиздата и тысячи людей рискуют своим благополучием и карьерой, чтобы это прочесть. И все же мы обманывали бы себя, если бы считали, что такие люди составляют большинство. Большинство по-прежнему одержимо профессиональными интересами, причем это относится также и к людям, принявшим решение об эмиграции. Эта профессиональная одержимость с одной стороны, обеспечивает людям некую специфическую духовную (точнее интеллектуальную) жизнь, а с другой, — делает их совершенно беспомощными перед лицом всякого изменения социального статуса (и внутри страны, и в случае эмиграции). При таком изменении лишь немногие умеют найти новые сферы приложения своим творческим способностям. Человек как бы уже превратился в деталь социальной машины, которая не может подойти ни к какому иному месту в этой машине, ни, тем более, к другой машине. Эта особенность затрудняет абсорбцию советского интеллектуала как в Израиле, так и на Западе.

Я заметил, что некоторые бывшие советские инженеры в Израиле начинают общественную деятельность «только для того, чтобы обеспечить себе нормальные производственные условия», но, втягиваясь в общественную жизнь, начинают говорить, что «только производственные успехи могут обеспечить нам нормальную общественную жизнь в стране». Таким образом, налицо некоторая перестройка сознания в сторону подчиненности профессионального элемента в реальной жизни.

Вообще говоря, предпочтение производственной сферы и творческих видов деятельности идеологически очень близко к сионистским идеалам начала века, когда проблема превращения евреев в народ со здоровой производственной основой была первостепенной. Однако это не превратило всех кибуцников в фанатиков сельского хозяйства, так как они не жили в замкнутом мире. Мы должны констатировать, что имеется общая основа, которая может подтолкнуть русских интеллектуалов к сионизму. Однако это же может их оттолкнуть, так как реальная практика далека от первоначальных идеалов как по духу, так и по деталям.

2. Подчиненность индивидуальной судьбы некоей великой цели есть общая предпосылка религиозного мировоззрения и сообщает смысл жизни миллионам людей. Однако в советских условиях эта цель была сформулирована как грубо социологическая (коммунизм). в результате чего в России произошло грандиозное разочарование в социалистической идеологии. В интеллектуальных кругах одно время было популярно «демократическое» движение, рассчитывавшее на некоторую либерализацию режима. Неудача этого движения привела также к разочарованию во всяком социальном движении вообще.

В то время как для русской интеллигенции, благодаря христианской идеологии, остается выход — полагать, что царство Божие не от мира сего и потому стремление к земной справедливости не должно выходить за известные пределы, — для евреев этот вопрос остается одним из самых трудных. Природный темперамент или семейная традиция предпочтения деяний чистой вере заставляют евреев непрерывно протестовать против различных несправедливостей, среди которых дискриминация собственного народа не всегда кажется им самой главной. Еврейский мессианизм, подкрепленный русской мессианской традицией, приводит к тому, что как те евреи, которые остаются в России, так и те, что готовятся к отъезду в Израиль, желают осуществления идеалов абсолютной справедливости в земной жизни в избранных странах. Пожалуй, только группа прямиков готова признать, что справедливости нет на земле и потому они просто ищут себе удобное место. Но даже и среди них многие рассматривают это как слабость. Поэтому главное, чем Израиль может привлечь этих людей, ищущих правду, — это попытка осуществить в реальной жизни некие идеалы. Согласитесь, что это и есть сионизм. Привлекательность его для русских евреев определяется не столько теоретическими достоинствами (мы видели по социализму, что теоретические схемы не привлекают их больше), сколько практическим идеализмом его представителей.

Атмосфера идеологической свободы и духовного богатства есть то единственное, что могло бы быть противопоставлено униженному положению советского еврея в настоящем. Будучи ассимилированным по культуре и техником по складу ума, он все же остается евреем в главном — он остается носителем уникальной судьбы. Все больше людей в России готовы эту уникальность принять сознательно и бесповоротно, но они готовы к уникальности, а не к банальности. К трагедии, а не к фарсу. К трудностям, но не к суматохе. Соотношение великого и житейского в реальной жизни видится им иначе, чем это представляется человеку Запада.

Я думаю, что настоящая художественная литература могла бы помочь им понять реальность в ее сложности и освободиться от некоторого схематизма. Такая литература спонтанно складывается.

Издавая еврейский САМИЗДАТ в России, я убедился, что евреи собственными средствами вырабатывают свою идеологию и литературу, преодолевая препятствия. Сейчас, спустя год после выезда, я вижу, что эта идеологическая работа не только не заглохла, но превратилась в целое течение, которому есть чем поделиться с еврейством всего мира. Нуждается ли еврейство в этом? Мне кажется, что нуждается, хотя и не сознает этого.

3. Интернационализм в основе очень благородное учение, которое берет начало еще в Библии. Однако я боюсь, что привлекательность этого учения для русских евреев коренилась не в Библии, а в том простом факте, что они как национальность были угнетены. Поэтому им показалось, что путь радикального уничтожения различий между народами избавит их от этого угнетения. Поскольку русские не были в прошлом угнетены, у них не было никакого стимула к стиранию этих различий, и они остались теми же русскими. В результате евреи не приблизились к интернациональному идеалу, а просто обрусели. Это не принесло им никакого увеличения симпатий со стороны других народов. Напротив, такая способность к национальной мимикрии вызывает дополнительное раздражение у всех окружающих.

Сейчас вся молодая русская интеллигенция настроена националистически и интернационализм рассматривает как чисто еврейскую уловку в конкурентной борьбе. Для большинства евреев национализм их русских коллег так же неприемлем, как и крайние формы собственного, еврейского, шовинизма. В их сознании национализм противоречит принципам гуманизма и свидетельствует о недостатке культуры. В своих духовных поисках они нуждаются в некоей форме универсализма, который снимал бы крайности вражды народов. Немногие находят этот универсализм в христианстве. В сочетании с другими факторами ассимиляции этот путь ведет к исчезновению русских евреев как группы.

Однако подавляющее большинство остается на неопределенно гуманистической позиции, и они представляют благодарнейшую почву для библейского универсализма, основанного на современной иудаистической философии. Однако ни единое семя еще не упало на эту почву. Русские евреи не имеют в своем распоряжении почти никаких еврейских знаний. Даже Библия на русском языке является в СССР громадной редкостью. И множество евреев узнают Новый Завет прежде Ветхого (и в лучших переводах).

Я хотел бы суммировать, что рассматриваемая мною группа прошла путь, предоставленный советскому еврею, до самого конца и осталась неудовлетворенной, несмотря на заметные внешние успехи. Они дошли до вершин творческой работы и убедились, что чисто профессиональная деятельность не может целиком наполнить их жизнь.

Они подчиняли свои жизни тем великим целям, которые формулировались в советском (и антисоветском) обществе и убедились, что цели эти — несуществующие, а сами они были исполнителями в чужой пьесе.

Они прошли до конца по пути ассимиляции и не освободились от унижений, но и не отказались от своей еврейской судьбы. Теперь эта группа находится на распутье. От того, куда она повернет, зависит судьба всего русского еврейства в целом. Тем, кто бежит в длинной колонне бегунов на дальнюю дистанцию, не приходится задумываться о дороге. Они видят впереди лидера в красной майке и заранее знают свой путь. Простой русский еврей десятки лет, надрываясь, бежал вслед за лидерами по той единственной дороге, которая была им открыта советской властью. Теперь его судьба зависит от того, хватит ли у этих лидеров мужества и чувства ответственности выбрать дорогу самим, быть может, и вопреки советской власти.

Мы можем помочь им в этом своим примером и своим сочувствием, мы можем расположить их к себе либо оттолкнуть, но мы не можем за них выбрать тот путь, от которого, на самом деле, зависит и наша судьба...

АНДРЕЙ САХАРОВ, ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ

(Речь на торжественном собрании Национальной АН Израиля, посвященном присуждению А.Д. Сахарову Нобелевской премии Мира. Впервые опубликовано в «Время и мы», № 3, 1976 г.)

Прежде всего зададим себе вопрос: мог ли бы А. Сахаров в такой мере заинтересовать мир, как это реально происходит, только как человек, то есть если бы он не был ученым? Я думаю, что — нет. И этот мой ответ характеризует не столько А. Сахарова, сколько мир, в котором мы живем. Но основывается он на моем представлении о Сахарове как человеке. Если бы А. Сахаров был политиком, он, я думаю, не выдержал бы конкуренции других, более бойких кандидатов на первых же этапах своей карьеры. Он не смог бы упрощать свою мысль для того, чтобы получить временный успех, а тогда он не пробился бы до того уровня, на котором можно думать об успехе серьезном. Хотя политическая жизнь в СССР совершенно отличается от жизни в демократических странах, сказанное равно относится и к демократическим странам тоже. А. Сахарова не выбрали бы даже членом муниципалитета, потому что он бы слишком глубоко задумывался, прежде чем что-нибудь сказать, а ни у кого в этом мире нет терпения выслушивать.

Если бы Сахаров был писателем, он не имел бы успеха, потому что он не смог бы указать правых и заклеймить виноватых, как делают писатели гражданские, и не оказался бы достаточно артистичен, как писатель лирический. У него не достало бы эгоизма привлечь весь мир в

свидетели своих душевных неурядиц и не хватило бы одержимости говорить миру, который не желает слушать.

Если бы Сахаров был школьным учителем, на которого он похож своей добротой и манерой поведения, — стал ли бы мир его слушать? И когда бы его выгнали с работы или посадили в лагерь за те же самые слова, максимум, на что он мог бы рассчитывать, — это подписи нескольких добросердечных интеллектуалов под письмом в его защиту, направленным в советское посольство. А потом — на тихую жизнь, заполненную полезным физическим трудом либо в ссылке в Сибири, либо в эмиграции, в Миннеаполисе...

Однако и если бы он был просто ученым или даже великим ученым, ситуация бы не слишком изменилась. То есть, конечно, ученые вслушивались бы к его словам, и на международных конференциях, посвященных физике и строению мира, раздавались бы слова о научной свободе, о необходимости прислушиваться к ученым и т. д. Только ученые в нашем мире знают, что необходимо прислушиваться к ученым. Все остальные знают только, что с учеными надо как-то поладить, то есть в конечном счете от них (и от их предложений) отделаться. Поэтому и в этом случае слова Сахарова дальше ограниченного круга беспокойных профессоров (в большинстве евреев) не пошли бы. А он не стал бы предпринимать усилий, чтобы попасть в газеты, выступить по радио, встретиться с сенаторами и конгрессменами...

А. Сахаров — не просто ученый. Будучи человеком очень скромным, он как-то сказал мне: «Ну какой я ученый? Я ведь, в сущности, изобретатель». Он несомненно преувеличивал, но, как всякий великий человек, очень точно видел суть проблемы. Суть проблемы в том, что миру не нужны ученые и сильные мира сего не ценят мудрецов. Сахаров есть Сахаров и для советских властей, и для западных обывателей не потому, что он ученый, а потому, что он — изобретатель. И изобрел он — ни много ни мало — водородную бомбу, от которой весь этот мир может взлететь. Особенностью сегодняшней техники является необходимость быть ученым, чтобы изобрести что-нибудь значительное. Но это не меняет того основного факта, что мир интересуется вещами, а не идеями, явлениями, а не сущностью...

Собственно, если бы А. Сахаров не стал бы ученым, он вообще не смог бы сложиться как личность и не приобрел бы своего влияния. Только в науке сейчас ничего не значит большинство голосов (даже в искусстве — это не так), и только в науке основательность и глубина весят больше быстроты и практичности. Медлительный, вдумывающийся в каждое слово, Андрей Дмитриевич, как бы прислушивающийся к неясно различимому голосу в себе и явно допускающий практические ошибки, мог бы быть принят только в обществе, где нет окончательных истин и где даже самый опрометчивый может оказаться прав... Таким обществом сейчас (во всяком случае, в Советском Союзе) является только общество ученых, и Сахаров является одним из лучших представителей такого типа. Но в прошлом такая атмосфера царилась не среди ученых, а среди религиозных мыслителей, отшельников, философов, пророков. Мудрость Талмуда связана с таким отношением агностицизмом, и Евангелия характеризуются такой особой неуверенностью в теоретических вопросах, которая покоряет в Сахарове. Весы совести все время колеблются, и номинальный вес гирь сплошь и рядом не соответствует фактическому (а иногда и меняется со временем). Это происходит на твоих глазах, и ты смотришь и вдруг понимаешь: «Святой!» Пожалуй, даже более определенно — христианский святой, подвижник, хоть сейчас в мученики.

А как же «ученый», а «изобретатель»? Как же, как же... А чудеса!..

Главная функция всякого порядочного святого — умение творить чудеса. Скажем прямо: мир интересуется учеными, потому что ожидает от них чудес. Все великие изобретения, которые так изменили лицо мира за последние десятилетия, воспринимаются обывателем и его государственным представительством как чудеса, которые способны творить одни личности и не способны другие. Популяризация науки и всеобщее образование несколько не сглаживают разрыв между «учеными» и обыкновенными людьми, хотя эти люди могут быть не менее учеными и не менее квалифицированными в своей области. И вот, то самое, что неоднократно было им говорено и отброшено, слышат они от человека, творящего чудеса, и в душу закрадывается страх...

Разве слушал Фараон Моисея? Но Моисей сотворил чудеса... Фараон задумался. Разве нужны были чудеса, чтобы понять, что говорил ему Моисей? «Мы пришли сюда свободными людьми, а теперь мы — рабы», «Отпусти народ мой» и пр. Но вот понадобились чудеса, и Десять казней египетских, и Огненный столб: и евреи свободны. Что же? Слушали ли они сами Моисея? — Нет! И опять пошли чудеса... Огненные столбы и атомные грибы вырастают, чтобы подтвердить простую мысль-заповедь: «Не убий!» Такие положительные чудеса, как манна или пенициллин, недостаточны для усвоения этой идеи. Эти чудеса учат людей не собирать в житницы и надеяться на авось. Чтобы удержать их от массового взаимного убийства, нужно что-то пострашней, и вот оказалось недостаточно даже динамита и I-й мировой войны. Была и II-ая, и атомная бомба. И теперь — водородная... Справедливо, что премию Нобеля, изобретателя динамита, присуждают Сахарову, изобретателю водородной бомбы, за стремление к миру, за его мужественную борьбу в пользу прав Человека. Если человечество погибнет, оно погибнет не от водородной бомбы, и не от динамита. Оно погибнет от собственного неразумия. Динамит сам по себе никого еще не убил. Обязательно была рука, которая этот динамит зажгла и бросила. И, впрочем, часто тот, кто бросал первым, получал преимущество и, может быть, уходил от возмездия. Но чудеса Божьи совершенствуются, как люди. Тот, кто бросит бомбу теперь, не уйдет от возмездия. Народ, который замышляет убить другой народ, теперь смертельно рискует и подвергает риску весь мир вокруг. Это

страшно. Но я думаю, что это хорошо. Как и раньше, найдутся безответственные смельчаки. Но теперь, не как раньше, всем не будет наплевать. Найдутся и те, кто удержит преступную руку. Не из благородства, к сожалению, а ради собственной безопасности. И это хорошо...

Таким образом, А. Сахаров (как и его американский коллега Э. Теллер) не несет вины за создание смертоносного оружия, а участвует как изобретатель в создании технического чуда, которое должно вразумить народы и направить их энергию на более разумные цели, чем смертоубийство. И Андрей Сахаров первый выступил с предупреждениями перед советскими вождями. Что значит выступить перед такими людьми с такими предостережениями, может себе представить только либо человек, выросший в СССР, либо человек, твердо помнящий, что пророк Исайя был, по приказу царя, перепилен деревянной пилой. И все же, оставаясь на современной почве, скажем просто, что он выполнил свой долг ученого. Ибо, оценив все последствия своего изобретения, он уже перестал быть просто изобретателем и стал Ученым.

Наконец, идя дальше по этому пути, взяв ближе к сердцу людские заботы, Андрей Дмитриевич связал вопрос о Правах Человека с вопросом о Мире, и эта постановка вопроса все еще нова. Почти никто на Западе еще не понял, что война, которую советские власти ведут со своим народом, не может не коснуться их. Запад еще не понял, что мирной может быть только страна, внутри которой царит мир, и отсутствие этого покоя в СССР есть смертельная опасность для всех. Вопрос о Правах Человека не есть больной вопрос только для СССР. Больше 60% Объединенных Наций пренебрегают правами человека, и это значит, что опасность грозит миру со всех сторон. Большинство человечества не просто нарушает права отдельных лиц и групп. Большинство человечества не знает, что оно нарушает, и что Господь сообщил евреям на горе Синай 10 заповедей. Поэтому у большинства нет даже общей почвы для переговоров. А. Сахаров пророчески указал на это всему цивилизованному миру и тем самым стал великим Человеком.

...Если М. Горбачева часто называют архитектором перестройки (а я все-таки думаю, что он только прораб), то Сахарова надо бы назвать предтечей и пророком ее. Миллионы людей обрели свободу благодаря этому повороту событий, и они с благодарностью вспомнят того, кто первым указал этот путь.

Год назад, в один из московских декабрьских дней, Андрей Дмитриевич вернулся с заседания съезда народных депутатов, прилег отдохнуть на часок — и уже никогда не проснулся. Еврейская народная традиция считает, что такую смерть Бог посылает праведникам. Еврейский народ несомненно имеет основания причислить А. Сахарова к числу праведников мира, ибо его безусловная поддержка еврейского освободительного движения резко повысила авторитет этого движения во всем мире и способствовала его торжеству. Андрей Дмитриевич чувствовал, как дышал, что невозможно добиться свободы для себя, не дав свободы другому. Он ощущал, что только Россия, из которой можно уехать, может стать Россией, в которой можно будет жить. Ему не нужны были обоснования политической благоразумности такой позиции. Он просто был таким человеком, который не мог бы чувствовать себя хорошо, если другим от этого было плохо.

Я лично многим обязан ему и Елене Георгиевне Боннер, принимавшим горячее участие в бесчисленных освобождениях меня из-под арестов, где я, вероятно, застрял бы на годы, если бы не их постоянная поддержка. Но еще большую роль в моей жизни сыграл сам факт знакомства с этим человеком. Моя жизнь была бы беднее, если бы я не знал его. Я мог бы упустить какую-то необыкновенно важную характеристику бытия. Уникальное свидетельство духовной природы человека. Его несводимости к банальному.

А. Сахаров умер именно в тот момент, когда начали кристаллизоваться элементарные основы гражданского мира, необходимость которого в СССР он первый провозгласил. Бог не дал ему увидеть дальнейшего развития свободы в России, которое когда-нибудь должно привести к торжеству его идей. Быть может, это тоже часть Его Милосердия.

Вопреки ортодоксальной еврейской традиции, которая невнятно приписывает Моисею какие-то мелкие грехи для оправдания его смерти в преддверии земли обетованной, я думаю, что Господь совершил это не в наказание, а из милосердия. Он не захотел огорчить своего любимца, дав ему увидеть любимый им избранный народ в разгуле свободы, в опьянении дележа, в многосотлетней череде неизбежных кровавых войн...

Я был знаком в своей жизни со множеством выдающихся людей. Сталкивался и общался со многими великими учеными. Но все остальные, великие и обыкновенные, друзья и враги, все вместе — это одно, а Андрей Дмитриевич Сахаров — это другое. Как если бы он был представителем иного мира, посетившим нас для напоминания о чем-то забытом. О том, что и в наше время в мире совершаются чудеса. Он был совершенно лишен всякой формальной религиозности. Поэтому мне трудно будет выговорить те слова, которые наиболее ему соответствуют. Он был истинный избранник Божий, пришел и ушел в надлежащее время.

В МИРЕ НЕТ ЦЕНТРА

(Впервые опубликовано в «22», № 2, 1978, как реплика в дискуссии «Где наш дом?»)

Сопоставление Израиля и Европы действительно ставит перед нами проблему.

Мы все были воспитаны на Европе, на европейской культуре. Русская культура, на которой мы выросли, вся пронизана ностальгическим чувством по Европе, она вся построена на европейских

реминисценциях. Не было ни одного по-настоящему плодотворного русского писателя — от Гоголя до Толстого и Достоевского, — который бы многократно не путешествовал по Европе, не любил ее, не говорил на многих языках, не читал бы непрерывно европейскую литературу. В России, в тюрьме, мне достался томок Пушкина — «Незавершенное и незаконченное». Все это «незавершенное» было полно его заметок, где он писал: хорошо бы написать русского Вальсингама, русского Тернера. Он вся время словно бы пытался «переводить Европу» на русский язык.

Поэтому у меня нет сомнений, что Европа должна быть нами немедленно узнана и с улыбкой встречена. Более того, сразу возникает такое ощущение, что это наше родное. Это первое ощущение. Когда я увидел Лондон, я ощутил, что это Диккенс. Когда я увидел Париж, я был счастлив, — это Бальзак, Стендаль, Дюма. Это так знакомо. И Рим...

Но как раз Рим дал мне очень характерное переживание. В Риме, сопоставляя невероятную красоту Рима классического, — Форум, Колизей, — с Римом современным, я пришел к мысли, которую затем начал постепенно расковыривать. И тогда я по-настоящему увидел, мне кажется, то, что характерно для всей Европы. Рим — это разрушенный город, населенный... обезьянами. Это, разумеется, грубое преувеличение, но я сознательно делаю такое преувеличение. В Риме нет ни одного здания, которое было бы отремонтировано. Там нет ни одного здания, построенного позже 18 века, которое выглядело бы хоть чуть лучше безобразного. Нет ни одной стены, которая не была бы загажена фашистскими знаками и серпами и молотами.

Рим — это чудовищное безобразие, которое нагромождено на поразительную красоту.

Прекрасна Флоренция. Но это опять же относится к Флоренции до 18 века. А ее окружают жуткие современные здания. Как только выходишь за пределы старинной Флоренции, начинаются Черемушки, которые мы хорошо знаем по Кирыт-Гату, — только в Кирыт-Гате еще есть такое безобразие. Я был в Венеции. Потрясающая маленькая Венеция, где гуляют туристы, а вокруг — не менее потрясающая своим убожеством современная архитектура.

Я встречал итальянских интеллектуалов. Они, конечно, существуют, но они ничуть не лучше американских, они, пожалуй, выглядят даже провинциальнее. Поэтому тот факт, что древний Рим на несколько голов выше Нью-Йорка, совершенно ничего не значит для современной итальянской культуры. Она вовсе не оказывается от этого автоматически на несколько голов выше американской. Это означает, боюсь, что она — не на уровне своего Рима.

Я хочу рассказать еще об одном впечатлении. Меня привели в очень интересный римский квартал, где архитектура меня особенно поразила своим необычайным уродством. Я спросил: «Что это? Что это за ужас?» И мне сказали: «Это попытка величия». Во времена Муссолини было провозглашено, что отныне Италия начинает времена новой классики. Были вложены серьезные усилия и деньги, приложены большие старания, — но возрождения классики все равно не получилось.

А потом я побывал во Франции, и снова главное, что меня поразило, — это расхождение между Францией, принадлежащей сегодняшним французам, и Францией, принадлежащей нам, русским евреям, то есть той Францией, которую мы помним по романам Золя, Дюма, Бальзака. «Наша» Франция — прекрасна, великолепна, но это не подлинная сегодняшняя Франция. Один из французских знакомых сказал мне: «Вы гуляете по бульварам, по набережным Сены, но вы не знаете настоящей Франции. Пойдите на могилу Наполеона, и вы увидите сердце Франции. Вот если вы сумеете пережить это, — тогда вы поймете Францию». Я пошел на могилу. И я должен сказать, — после этого я понял, что я действительно Францию не знаю. Эта гробница, — я настаиваю на этом, — созвучна тому пафосу, который я увидел в муссолиниевском квартале. Это ложный пафос, это могучий мрамор, это невероятная пышность, это памятник побед, которых у Франции нет. Это памятник комплексу неполноценности. И без понимания этого сокровенного нельзя говорить о Европе.

Европа очаровательна. Это самое удобное место для жизни на земле. Бродя по Америке, — а это одна из самых красивых, самых природно богатых стран в мире, — я все время ощущал, что Европа все равно гораздо уютнее для нас, потому что мы по природе европейцы, таково уж наше воспитание. Она уютнее, она очаровательнее. И все, что в Америке хорошо, — заимствовано у Европы, только богаче и больше. И все же я хочу спросить: почему нам не быть честными с собой и не сказать, — что хорошо, то хорошо, но что есть, то есть? А есть у сегодняшней Европы этот сокровенный комплекс неполноценности. Она чувствует, что умирает, не будучи в силах освоить собственную культуру. Она чувствует и знает это свое бессилие. И настоящая проблема для Европы, — такая же, кстати, как и для нас, — как выбрать путь, чтобы оказаться на уровне своих предков?

Я обошел множество галерей в Париже; Париж — это ведь центр мировой живописи! Я не говорю о Лувре, потому что Лувр — это не сегодняшняя Франция, это ее прошлое. Так вот, я обошел множество современных галерей и боюсь, что вероятность встретить талантливое, оригинальное полотно там ничуть не выше, чем в Тель-Авиве, Иерусалиме или Цфате. И дело не в том, что талантливые люди всюду редки. Дело еще и в том, что весь мир сегодня следует за небоскребами Америки. И если какие-то израильские бумагомаратели следуют за Парижем, а другие — прямо за Нью-Йорком — это уже не важно. Важно, что они не следуют за велениями собственной души, и это — проблема всего мира.

Европа — или, во всяком случае, та Европа, с которой нам имеет смысл общаться, для которой у нас открыты сердца и о которой мы всерьез можем говорить в духовных терминах, решает сегодня свою проблему, которая не менее тяжела, чем проблема Израиля. Потому что и перед ними, и перед

нами действительно стоит эта главная проблема: приспособиться к американским стандартам или найти в себе силы оживить свою культуру. Ну, хоть сохранить старую! Одно из двух: либо продолжать культурное творчество, либо приспособиться к американским университетам. Такова реальная альтернатива. Сегодня миром правит Америка, а не Париж или Венеция. И Америка покупает Венецию и платит Парижу для того, чтобы они существовали. А потуги де Голля создать великую Францию выглядят точно так же, как могила Наполеона: смешно.

После того, как я побывал в Европе, я ощутил настоящее уважение к двум другим странам, о которых я раньше меньше думал, — к Голландии и Англии. К Голландии и Англии, которые совершают действительно героические культурные усилия. Англия, которая потеряла мировую империю, которая полностью лишилась всего, что поддерживало ее в прошлом, сейчас борется за то, чтобы обжить и сохранить культуру, которую она имеет, сегодняшнюю культуру, которая, впрочем, никакого отношения не имеет ни к Уфицци, ни к собору Парижской Богоматери. Но зато — это живая культура. И я вижу, что Англия испытывает в этом вопросе те же трудности, что Израиль, — недостаток средств, недостаток кадров. Я видел знаменитого ученого, который встречал меня в таких обтрепанных брюках, что у меня сердце сжалось — такой бедности я не видел даже в России! — и который не соглашается на приглашения Принстона, Гарварда и тому подобных американских университетов, потому что он хочет, чтобы в его Оксфорде был Оксфорд. Почему бы и нам не подумать об этом? Все мы — вчерашние жители Шепетовки. А сегодня мы вдруг на меньшее, чем Париж или Гарвард, не согласны. Неужели нам действительно должно принадлежать все самое лучшее? И наши жены должны быть непременно самые лучшие в мире? И наши города должны быть самыми красивыми? А если у меня родители не самые лучшие в мире, — может, это причина сменить родителей? Может, мне назваться другим именем или фамилией? Разве не стоял перед нами этот вопрос — перестать быть евреями? Мы имели время решить этот вопрос. Так что, опять начнем его перерешивать, потому что в Гарварде лучше университет?

Когда я в России решал для себя вопрос, куда я поеду, я решил поехать в Израиль. Если через пять веков здесь кто-то будет жить и учиться в еврейском Гарварде, и наслаждаться еврейской галереей Уфицци, в этом будет мой вклад. Но если бы я поехал во Флоренцию и прожил там хотя бы еще миллион лет, галерея Уфицци все равно никогда бы не стала моей. В этом вся разница. Израильский художник, который здесь что-то создаст, создаст это отчасти за мой счет. Это и есть наш историко-культурный шанс.

У нас, у евреев, развилась за столетия какая-то необычайно высокая культура беззастенчивого гостевания. Мы так хорошо умеем гостить в чужих домах! Мы такие самые замечательные в мире гости! Постыдимся... Мы — дети своих родителей, и мы должны уважать их за то, что они наши родители. Этого достаточно. Мы живем в этих городах, и нам нужно украшать **эти** города, потому что **мы** в них живем. Нам принадлежит **эта** культура, и мы должны ее создавать, потому что она **нам** принадлежит. Мы создаем эту культуру, и она хороша только потому, что она — наша. Это не такая великая культура, какую мы можем потребить в Европе. Верно, но ведь — только потребить! Не мы создали европейскую культуру, не мы наследники этой культуры, мы — всего лишь ее потребители. Вообще говоря, потреблять — это тоже не стыдно. Я знаю человека, который говорит: «Почему считается, что талант обязательно должен состоять в творчестве, в созидании? А вот я, например, могу талантливо потреблять, могу гениально наслаждаться искусством». Пожалуй, в этом есть свой смысл, — для потребителей, для туристов. Но, если мы говорим в подлинно духовных терминах, в терминах созидания, употребляя слово «творчество», давайте не забывать, что потребитель и творец — это разные типы личностей и отношения к жизни. Иначе мы скатимся к тому, что вся наша нация, весь Израиль может превратиться в такого потребителя, — во всем. Если же мы хотим творить, то тут все однозначно: всякий, кто создает, не может создать ничего иного, кроме своего. Он создает только свое. А это свое затем уже войдет в культуру или нет. Если оно подлинно «свое», то войдет, а если оно чужое — оно исчезнет. Перед нами нет такого выбора — строить небоскребы или Колизей. Мы все равно никогда не построим Колизей. Это уже было, это принадлежит другим. Небоскребы у нас есть шанс построить, но они не будут выражать нашу культуру, это просто техническая наша потребность, вот и все. Что создаст еврейский народ и что он создаст в Израиле, — смешно это предугадывать. Есть, например, такой еврейский художник как Иоси Розенштейн. Он наложил на себя религиозные ограничения, — он не рисует лиц. Но я не уверен, что для его творчества это было ограничение. Ибо его картины по-своему интересны. И вот противоположный, но в каком-то смысле смыкающийся случай — Йосл Бергнер, который всю человеческую трагедию изображает в виде бредущих в пустыне, распятых или смертельно уставших терок. У него это не религиозное ограничение, а ощущение, которое идет изнутри. Это именно то, о чем я говорил, — что для человека, в сущности, главная — и уже достаточная — задача в жизни: быть достойным своих родителей, не предать их, не забыть, не снизить, — и этого достаточно. Терки Бергнера — это еврейский быт, еврейская мелкость жизненных истоков, возведенная в лирическую тему, в эстетику. И оказывается, что эта эстетика — та же, что в железных людях Розенштейна. Может быть, в этом и есть наш особый путь?

Когда мне говорят, что этот особый путь неизбежно связан с религией, и наша религия может снова увести нас с исторического пути, и мы опять исчезнем из истории материальной культуры, я могу ответить лишь одно: если в душе есть достаточное мужество и силы задать себе такой вопрос, то это уже залог, что мы не исчезнем. Если же этих сил на самом деле нет, — что ж, значит, такова наша судьба. Однако в любом случае смешно об этом гадать. Если перебежать в Европу, — от этого

разве станет лучше? Или, может быть, нам отвергнуть на этом основании нашу религию? Но тому, кто ею насковозь пронизан, предлагать это бессмысленно, он ее не отвергнет, а тому, кто от нее далеко, — хорошо бы, прежде, чем отвергнуть, — познать. Тогда, быть может, он увидит и другую сторону проблемы. Сегодня во всем мире культура строится, — точнее, ее пытаются строить, — в условиях распада религиозного сознания, отсутствия абсолютных ценностей. Я боюсь, что в этих условиях построение подлинной культуры вообще невозможно. Я не верю, что может существовать безрелигиозная культура, и в этом смысле у евреев есть даже преимущество перед Европой и остальным миром, ибо их религия не может быть просто «отброшена», она составляет часть их национальной жизни. У меня нет никаких сомнений в полезности религии в жизни и культуре еврейского народа. Я отношусь положительно к религиозности израильского общества. Другое дело, что я не знаю, где мера этой полезности, и я вовсе не готов менять свой образ жизни или голосовать за изменение нашего образа жизни, — но я просто уверен, что такие вопросы не решаются голосованием. Эта мера создается практикой.

В одной из своих статей М. Агурский очень точно определил нашу распространенную болезнь, как стремление евреев во всем мире к некоей «центральности». За это евреев, собственно, и не любят. Они все время пытаются пролезть поближе к «центру событий». В любом месте, на любом уровне, в любой профессии евреи рвутся к эпицентру землетрясения. (Не есть ли это просто другая формулировка все того же еврейского карьеризма, который гонит нас в столицы?) Им всегда кажется, что где-то там «центр», где-то «там» создается культура, а они, в Израиле — о ужас! — живут в провинции, на периферии событий... Я очень много ездил, я общался с людьми, и я понял, что в мире нет центра. Этим и характерен западный мир: в нем нет центра. Амстердам — это центр для голландцев, замечательное место, потрясающее место, но это ни в какой мере не центр ни для англичан, ни для французов, ни для итальянцев. И хотя Нью-Йорк сегодня — в каком-то смысле центр мира, но Париж для французов важнее Нью-Йорка. Сол Беллоу как-то сказал, что Париж в культурном смысле нисколько не выше Буэнос-Айреса, но для французов — это их уровень, их центр. И в этом плане Тель-Авив и Иерусалим — ничуть не меньшие «центры». Более того, мне кажется, что некоторая чуткость позволила бы нам заметить, что в каком-то еще более **глубоком смысле подлинный центр мира действительно находится здесь**, — не только для нас, евреев, но и для всех.

Это утверждение не имеет ничего общего с попыткой приписать нам, евреям, дополнительный аристократизм. Напротив, я чувствую себя плебеем и вполне этим удовлетворен. Более того, я уверен, что это мое плебейство дает мне возможность крепко стоять на ногах. Мои предки — плебеи, которые никогда не жили за счет того, что им оставили их предки. Они приспособивались к тому, что есть, и строили из того, что оказывалось под рукой. И при этом они умудрялись не только как-то жить, но еще и иметь богатую духовную жизнь. Я убежден, что такое ощущение себя плебеем в каком-то смысле ближе к европейскому аристократизму, чем повышенный «еврейский аристократизм» многих наших соплеменников. Потому что, насколько я понимаю европейскую культуру, она построена на четком сословном различии и сословной памяти: плебей помнит, что он сын плебея, аристократ помнит, что он сын аристократа. И вот нам нужно помнить не только, что мы лично плебеи, но и то, что евреям предназначена особая роль в мире.

Разговор о «центральности» Израиля имеет и иной, более глубокий смысл. Дело в том, что Европа и европейская культура были созданы деспотизмом и поддерживались до тех пор, пока традиция этого деспотизма сохранялась. Сейчас она переживает кризис, который ставит перед ней — и всеми нами — проблему: может ли вообще существовать демократическая культура? Европейская культура потому в такой сильной степени оказывается зависимой от американизма, что американское общество — это единственное в мире общество, которое знает только демократическую традицию.

Действительная проблема, перед которой стоит Европа, состоит в том, что психологически и идеологически она не уверена, что может продолжать и создавать свою, оригинальную культуру без деспотического давления, без тиранического произвола. Когда же она что-то создает, это оказывается, в конце концов, какими-то американскими копиями. И неважно, кто у кого украл, — важно, что уровень все равно невысок. Демократическая культура, потому ли, что она молода в Америке, или потому, что она еще не нашла себя в Европе, — в значительной степени сера и посредственна. Тут кроется настоящая проблема и трагедия. Ибо пока что американская демократическая культура, в основном, оказалась способной создать только массовую продукцию, одинаково серую — в полном соответствии с принципами общества «одинаковых возможностей».

И вот тут-то для нас, для Израиля, открывается перспектива. Она открывается потому, что наше общество традиционно демократично. Наше общество демократично не только сейчас, — оно в каком-то отношении было демократично всегда; в каком-то отнюдь не в современном смысле; но во всяком случае оно никогда не выжимало из индивидуума соки, чтобы создать какую-нибудь пирамиду или вообще «Вещь». Более того, — творчество, в которое ушли силы еврейского народа, «Слово», тоже не выжималось под давлением. Это не был результат тирании или какого-либо целенаправленного насилия, целенаправленной воли. Так вот, сегодня перед миром возникает вопрос: может ли культура выжить при современных условиях, действительно ли она обладает внутренней потенцией? И в этом отношении, я бы сказал, еврейство, Израиль — равновелики Европе. Потому что наши шансы создать демократическую культуру не меньше, чем шансы Европы. Я не знаю, — может быть, наследие евреев даже более адекватно решаемой сегодня задаче, чем

наследственная культура европейцев. И тогда именно Израиль может оказаться в «центре» современного культурного эксперимента.

Тут следует кое-что уточнить. Конечно, европейская культура, о которой мы говорим, создалась до 18 века; начиная с 18 века, она, скорее, разрушается, — это хорошо известно культурологам, тем же Шпенглером и Тойнби. Начиная с 18 века происходит внедрение этой культуры (в популярном изложении) в быт, — это само по себе прекрасно, но до нового развития здесь далеко. Нам, советским евреям, это легко понять на собственном примере: русская дореволюционная культура создала такой багаж, который и при его разрушении, после 1917 года, дал поразительный, гениальный всплеск, во многом оплодотворивший мировую культуру. Иными словами, акт разрушения традиционной культуры, созданной деспотизмом, тоже является творческим, культурным актом. Когда, например, Маяковский выступает и сбрасывает Пушкина с парохода современности, это есть творческий акт. Но когда он его уже сбросил, — выясняется, что сбрасывать Маяковского уже не интересно. Следующего акта нет. И не случайно у Маяковского нет ни одного продолжателя. Так что же дальше? И вот начинаются поиски и блуждания, которые становятся с каждым десятилетием все лихорадочнее. Это бросается в глаза — в современной живописи, в кино, в литературе, — людям совершенно непонятно, что делать дальше. Это действительно проблема — и проблема для всего мира. Деспотический путь создания культуры, характерный для Европы и России, неминуемо приводит к этапу ее отрицания. Но оказывается, что дальше — тупик. Оказывается, что когда уже сбросишь Пушкина с парохода современности, то выясняется, что гораздо более перспективна та линия, на которой вообще с пароходов не сбрасывают. Вот почему я сказал и повторяю, что евреи, Израиль в этом отношении равновелики Европе. Для нас это тоже проблема, мы в этом смысле современники этих поисков, и если у нас хватит творческих сил опереться на себя, внутри себя, а не хвататься за чужое, не исключено, что мы опередим Европу...

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЕВРЕИ ОБЪЕКТОМ СОВЕТСКОГО АНТИСЕМИТИЗМА?

(Впервые опубликовано в «22». №3. август 1978)

У каждого живого существа бывает такой импринтный возраст, когда яркие впечатления навеки запечатлеваются в сознании и надолго определяют предрасположения и страхи, которыми руководствуется взрослый. При этом его взрослый опыт иногда не может соперничать по силе влияния с этим первым впечатлением, которое отнюдь не всегда обосновано, но оказывается сильнее логики и реальной жизни. Возможно, нечто подобное произошло в истории русского народа в пору его младенчества, когда русские княжества оказались в вассальной зависимости от Хазарского каганата (VIII-IX вв. н. э.) и образ «Хазарина» или «Жидовина» приобрел в русском сознании черты фантастической мощи, непреодолимого государственного, финансового и культурного могущества, которые присутствуют в русском государственном мышлении и поныне. Хазарский каганат распался в X в., однако, следы подобных взаимоотношений сохранились в описании еврейского погрома в Киеве (XI в.), распространения «книжной премудрости» киевского жида Эхарию в Новгороде, свидетельствах о ересях стригольников и жидовствующих (XV-XVI в.). Иван IV, получив донесение о захвате группы евреев при взятии Полоцка, приказал немедленно всех утопить, чтобы избежать возможного вредного влияния их на дела молодого русского государства. Что такое влияние предполагалось очень опасным, видно из категорического, можно даже сказать, испуганного тона царского указа. В XVIII в. русский вельможа украинского происхождения Разумовский написал государыне Елисавете Петровне, что он предвидит «большие пользы от допущения жидов из Западных областей для торговли и ремесла», а Елисавета кротко, но твердо ответила: «От врагов Христовых и пользы не надобно». И в дальнейшей истории Российской империи можно проследить следы этого мистического страха, подчас преодолевающего естественное корыстолюбие. Например, уже в XIX веке был неожиданно издан указ: запретить евреям проживать на Рижском взморье и даже посещать его. Жители Рижского взморья буквально взмолились отменить это ограничение, потому что они начали разоряться без евреев, которые уже тогда видимо, взяли современную моду ездить по курортам.

По-видимому, почти такой же длинной историей обладает и другое, гораздо более трезвое (хотя отнюдь не более дружелюбное) отношение к евреям, сложившееся на территории Польши и Украины (и того же Рижского взморья), занесенное в Россию вместе с присоединением этих стран. В отличие от русского отношения, исходящего из мистических источников и не основанного на реальном опыте общения с еврейским народом, польско-украинское отношение целиком проникнуто идеей практической пользы (или вреда), безотносительно к идеологии. Так, польская шляхта защищала евреев от украинских погромов, конечно, не по идеологическим мотивам, а исходя из своей выгоды, и теперь некоторые украинцы призывают евреев к объединению не потому, что они, наконец, осознали какие мы хорошие, а потому что они сознают нас как потенциального союзника в своей борьбе и трезво оценивают свои выгоды и возможные потери. Их отношение к евреям основано на реальных факторах потому, грубо говоря, что они не боятся евреев, так как знают их хорошо.

Все века, что евреи проживали на территории Польши и Украины, они были лишены собственной государственности, в большинстве не носили оружия и представляли собой легкую добычу для вольного рыцарства и одновременно единственную мишень для народного гнева, благо

другие мишени больно кусались. И образ жида в украинской фантазии скорее юмористический, чем демонически грозный, как в фантазии великорусской. Достаточно сравнить антисемитские страницы Гоголя с соответствующими страницами из Достоевского (или Некрасова), чтобы увидеть эту разницу. В политической истории Российской империи эти два отношения сосуществовали, так что до XVIII века преобладало русское идеологическое отношение, а к середине XIX века явно возобладала трезвая оценка политических и экономических факторов, связанных с еврейской проблемой. В начале XIX века можно видеть, как меняется этот государственный взгляд по тем компромиссам, которые совершало правительство. Так, мне пришлось ознакомиться с письмом Виленского губернатора на Высочайшее имя, где он предлагает отдать винные откупа в Литве «жидам-караимам, поскольку те не такого вредного вероучения и не признают богомерзкого Талмуда». Таким образом, он уже готов признать каких-нибудь жидов, но еще панически боится Талмуда (каким образом Талмуд может помешать или помочь содержанию кабаков, остается задачей для историков русского политического мышления). Также и концепция Николая I, создавшего школы кантонистов «для перевоспитания и наставления заблуждающихся евреев» еще отдает мистикой, которая внушает монарху, что оставить евреев заблуждаться опасно для его государства, но уже отличается трезвым убеждением, что после «перевоспитания» николаевские солдаты могут рассматриваться, как и все прочие люди в империи, даже оставаясь евреями. В дальнейшем русское правительство было избавлено от слишком глубоких размышлений над еврейской проблемой вмешательством Ротшильда, который обуславливал свои займы отношением к евреям, и потому мистически настроенные сановники во многих своих начинаниях, вроде дела Бейлиса, наталкивались на сопротивление министра финансов.

В общем в XIX веке в Российской империи, поскольку она управлялась в основном европеизированными людьми, победило чисто практическое отношение к евреям. Евреи заняли достаточно прочные позиции в русском обществе, вопреки многим легальным ограничениям, хотя и русская мистическая тенденция время от времени снова просыпалась и явственно напоминала о себе.

Интересно, что все это время коренные русские люди по-прежнему никогда в глаза не видели еврея (благодаря черте оседлости) и давали основания утверждать, что в русском народе нет антисемитизма. Еврей впервые опять появился в, собственно, России в начале XX века, и опять он явился как представитель могучих мировых сил (с одной стороны, Капитала, с другой стороны. Революции). Настоящее знакомство с евреем в России произошло во время революций, когда еврей был суперменом Революции, вооруженным до зубов партийными словами (разных партий, но для обывателя неразличимо), наганом и невообразимой дерзостью. Это не было такой уж неожиданностью для украинца, который и сам грешил нелояльностью, вовсе ничто для поляка или латыша, которые двести лет ждали своего часа, но потрясло воображение русского обывателя из глубинки, который не мог даже вообразить, как без страха разговаривать с городовым, а не то что захватить городскую думу. И в сознании этого обывателя восторг и страх опять, как десять веков назад, перемешались, так что еврей вырос для одних в сказочного чудо-богатыря (Левинсон Фадеева), а для других — в сатанинскую силу, несть ей предела и отпору. И теперь, и, тем более во время революционных событий, ни один обыватель не поверил бы, что в России живет только около трех миллионов евреев. Да если вы даже скажете ему, что их десять миллионов, он все равно ответит: «Что вы, что вы, их гораздо больше!» Действительно, как их может быть так мало, когда во время революции, да и сейчас в некоторых отношениях, он буквально окружен ими. Они всем владеют, всем руководят и все возглавляют. Ни о чем нельзя подумать, ничего написать и ничего выполнить без их значительного участия, поддержки или сопротивления во всех отраслях и направлениях. Тем более, что некоторые из них так удачно маскируются, что их и не заподозришь. «Нет, нет, их очень, очень много! Гораздо больше, чем вы думаете!»

Мне кажется, что такое деление — на мистическое и практическое отношение к евреям — более плодотворно для понимания исторических событий, чем деление на антисемитское и филосемитское. И то, и другое может быть как практическим, так и мистическим. Русский филосемитизм также построен на мистических основаниях. Он основан на вере в том, что евреи, наверное, что-то «такое» знают, исторически якобы наследуют и нечто метафизическое в себе несут. Но и антисемитизм, страх по отношению к евреям, растет из внутренней слабости, ожидающей сверхприродной одаренности, непредсказуемого коварства от этого «особенного» племени.

Что произошло после Октябрьской революции? Какая бы революция ни произошла в России и как бы радикально она ни изменила общественную структуру, в общем она не может выйти за пределы необходимости, диктуемой русской историей. Русская история остается историей народа, живущего на этой территории в определенных условиях. Поэтому и советская власть оказывается в рамках той же необходимости. Она нуждается, как нуждалась в свое время и царская власть, в некоем квалифицированном меньшинстве, которое по отношению к основному населению было бы несколько чуждым. Царская власть всегда для этого использовала немцев. Весь XVIII век и начало XIXто заполнены полемикой русского дворянства с немецким. Еще в середине XIX века Менделеев, достаточно просвещенный человек, не постыдился черным по белому написать, что русская наука потому в плохом состоянии, что немцы ей мешают. Но это была конструктивная полемика, поскольку никаких мистических особенностей за немцами не признавалось. Это была обычная конкурентная борьба, и как всякая борьба она вызывала некоторые преувеличения.

Нечто подобное происходит и сейчас. Советская власть полностью уничтожила дворянство и средний класс. В 30-е годы она вдобавок уничтожила даже свои собственные партийные кадры, в результате чего лишилась громадного человеческого капитала. Поэтому евреи (а также армяне и всякие другие инородцы с культурной традицией) выдвинулись в ряды квалифицированного меньшинства, и европеизированная государственно ориентированная часть партийной верхушки их приняла — обычно на вторые роли, но тем не менее приняла. И они работали. Работают и сейчас. Одновременно, поскольку Россия — это большая империя, в ней происходит рост национализма, развитие национальной идеологии, которая ощущает это квалифицированное меньшинство как конкурентоспособное, слишком сильное для них. Националисты начинают бороться с «засильем евреев», как они это называют, и борются довольно успешно, потому что «засилье», как мы знаем по статистике последних лет, непрерывно ослабевает.

Но одновременно на всю эту реальную, я бы сказал — «польско-украинскую», ситуацию накладывается древнее противостояние, которое имеет идеологический характер и связано с мистическим отношением к евреям. И я думаю, что сейчас наступает момент, когда конструктивное отношение русской государственной администрации к евреям меняется на опасливо-мистическое. Это продолжение той же синусоиды: где-то на рубеже XVIII-XIX веков русское мистическое отношение сменилось польско-украинским, которое, хотя и было антисемитским, но тем не менее практическим. Затем, в рамках того же практического отношения, стал преобладать филосемитизм, чтобы в 30-е — 40-е годы уступить место антисемитизму. Наконец, сейчас, после 60-х годов, снова начинает преобладать мистическое отношение к евреям, как к чему-то невидимому и страшному.

Чем это вызвано и с чем связано? Тут я подхожу к главному, ради чего я позволил себе такое большое предисловие. В самой резкой, парадоксальной формулировке мое предположение звучит так: **современная антисемитская кампания в СССР не имеет никакого отношения к евреям.** Она не направлена против евреев. В Советском Союзе происходит очень серьезная внутрипартийная борьба, связанная с тем, что старшее поколение вымирает и в России меняется элита. Сейчас идет борьба за то, каков будет состав элиты, которая сменит старую. В этих условиях крайняя группировка, настроенная весьма националистически, выбирает то направление борьбы, которое по общественным условиям в СССР не может быть наказуемо. Она развязывает грандиозную антисемитскую кампанию, потому что знает, что в существующих общественных условиях ни один влиятельный партийный работник не посмеет открыто выступить против антисемитизма. Таким образом, у претендента, который выступает против старого истеблишмента, оказывается в руках мощнейшее оружие. Бороться с ним можно только тоже на антисемитской почве, а для этого власти должны заявить себя еще большими антисемитами, чем он. Но, во-первых, большими антисемитами быть невозможно, потому что антисемитизм русских националистов приобрел уже прямо фантастические масштабы, а во-вторых, это перестает быть государственно разумным, — тогда уже нужно перейти к прямым погромам или к чему-то такому, что нарушает нормальное существование государства.

Сегодня против истеблишмента, который — как любой истеблишмент — заинтересован в стабильности, выступает очень сильная группа, которая идет все дальше и дальше, провозглашает все более радикальные антиеврейские лозунги. Эта группа знает, что, если она провозгласит, скажем, антиармянские или антиказахские лозунги, она немедленно будет разгромлена. Но антиеврейская пропаганда в СССР — это беспроясненная кампания. Обратите внимание на состав группы, которая сочиняет эту безумную антиеврейскую литературу. Вот, например, Емельянов. Это не какой-то неизвестный человек, управляемый чьей-то рукой. Это вполне известный человек, он работал в Институте востоковедения, он многократно страдал за свой антисемитизм, у него были неприятности с КГБ, его выгнали из института. Он действительно «диссидент». Но это диссидент, который обладает громадной силой. Или вот, Скурлатов. Многие москвичи знают, кто такой Скурлатов. Это фашист, причем слово «фашист» я употребляю сейчас не в оценочном, а в чисто идеологическом смысле. Он это понимает, он сам считает себя нацистом, и будучи работником Московского горкома комсомола, сотрудником «Университета молодого марксиста», разослал в качестве инструктивной бумаги этого университета некий документ, который имел настолько чудовищно-фашистский характер, что его выгнали из горкома. И вот теперь он нашел себе применение в антисемитской кампании.

Эти люди действительно рискуют, потому что они ведут настоящую политическую борьбу. Общеизвестно, что в России есть подпольные националисты, которые издадут журнал «Вече», и есть открытые националисты, которые сидят в ЦК, в Институте мировой литературы, в Центральном доме литераторов. Такие люди, как Палиевский, Кожин и другие известные критики и литературоведы, всерьез разрабатывают русскую националистическую идеологию. Им покровительствуют несколько членов ЦК. Когда особенно рьяных антисемитов сажают, выгоняют или наказывают, это не означает, что восторжествовало правосудие. Это означает, что один член ЦК дал по рукам другому члену ЦК, который протянул руки слишком близко к его карману. «Дать по рукам» — это значит дать Осипову 8 лет за издание «Вече», это значит протолкнуть в «Литературную газету» статью против русского национализма. Судьба самого Осипова при этом во внимание не принимается, — как и судьба евреев в этой кампании.

КГБ тоже очень сильно вовлечен в эту борьбу. Я не знаю, на чьей стороне; возможно, КГБ тоже не един в этом вопросе, но я уверен в том, что перед нами политическая игра, которая является борьбой за власть. Вот почему я сказал, что это не имеет никакого отношения к еврейскому народу.

Теперь я скажу нечто совершенно противоположное. **Эта борьба целиком определит судьбу еврейского народа в СССР.** Точно так же, как борьба, допустим, Полянского с Брежневым не имела никакого отношения к Осипову, но Осипов получил 8 лет и сидит в лагерях, так для еврейского народа исход такой борьбы может означать жизнь или смерть.

В современной ситуации антисемитизм в СССР становится в какой-то степени государственной идеологией. Чем ближе к власти окажется какая-то группа, тем более она вынуждена будет отказаться от чисто национальной идеологии, потому что империей нельзя управлять с помощью чисто русских национальных лозунгов. Поэтому по мере приближения к власти такие группы вынуждены будут расставаться с национальной идеологией в целом. Есть, однако, один пункт этой идеологии, который можно сохранить, потому что он не задевает ни одну из колоний этой империи — антисемитизм. Антисемитизм так удачно расположен на карте националистической идеологии, что оказывается единственной ее чертой, которая устраивает и правых, и левых, и националистов, и империалистов. Брежнев, Кириленко, Подгорный — они все родом с Украины, у них у всех есть родственники-евреи. Все они антисемиты, но для них евреи — это люди, как они сами: они знают, что могут с ними конкурировать, могут разрешить им уехать или не разрешить, но они делают это по чисто практическим соображениям, и такие соображения для них достаточны. Националистическая группа, которая пытается столкнуть Брежневых и Кириленко, только на поверхности возглавляется фанатиками. В действительности и ею руководят люди, далекие от фанатизма. Но для них характерно мистическое отношение к евреям. Они не могут позволить евреям сделать ничего такого, что евреи хотят. Если они хотят уехать, их надо не выпускать; если они не хотят уезжать — их надо выгнать. Они будут все делать так, чтобы не дать еврейскому народу восторжествовать. Такова их идея.

Но они вряд ли сознают, как далеко эта идея может завести их самих и их народ, который так или иначе соблазнится на эту вековую приманку.

Антисемитизм — тот компромисс, на котором могут помириться эти две большие группы, помириться и поделить власть. Ведь даже в сталинские времена власть в СССР не была единоличной, хотя такое представление всячески насаждалось. Даже в сталинские времена существовала инициатива снизу, и те работники, которые ее проявляли, смертельно рисковали — но некоторые выигрывали. Теперь же это почти целиком так: не вся внутренняя политика планируется сверху и, в частности, антисемитизм. Такие общие установки, как ограничение приема в институт и на работу, действительно планируются, но антисемитизм, как параноидальная идеология, антисемитизм, как мистическое отношение к евреям, идущее даже на нарушение собственных практических интересов, не планируется никем. И это значит, что он еще опаснее, потому что это — единственный вид идеологической инициативы, который не может быть не поддержан сверху. Партийный работник, желая доказать свою лояльность и проявить качества, которые сделают его популярным в определенных кругах, просто обязан поддержать инициативу таких безумцев, как Емельянов или Скурлатов. Он может сознавать, что это глупо, это может вредить ему в его непосредственной деятельности, но он вынужден это сделать. А тот, который готов — ради практических выгод — идти с евреями на компромисс, всегда, в конце концов, отступает перед антисемитом, потому что его компромисс — всегда тайный. Потому что он боится сознаться, что вступил в гнусные сделки с мировым сионизмом. А отсюда уже недалеко и до обвинения в скрытом еврействе. Ибо «всем известно, как они умеют маскироваться и как они всюду умеют пролезть».

Это и есть та главная опасность, которая угрожает сейчас еврейскому народу в СССР. Даже истеблишмент, даже сравнительно умеренная группа партийных работников имеет только один выход в борьбе с «правым» экстремистским крылом — уступить в отношении евреев.

Таким образом, никакой разумный баланс в этом вопросе невозможен, и советское общество неудержимо сползает к самым крайним формам шовинизма. Однако только на первый наивный взгляд этот оползень угрожает одним лишь евреям. Очень скоро окажется, что «их очень, очень много». Гораздо больше, чем мы с вами думаем. Гораздо больше, чем мы даже можем себе представить.

ВЕЧНЫЙ КОМИССАР

Однажды меня поразила фраза, прочитанная в посредственной советской книжке: «Веками свершалась на земле несправедливость: богатые угнетали бедных, сильные обижали слабых...»

Откуда мы можем знать, что на земле свершается несправедливость, если само понятие справедливости мы извлекаем из окружающего мира? Иными словами, почему мы знаем, что существующий порядок несправедлив, если никакого другого порядка на земле никогда не было? Либо все-таки в мире господствует справедливость — и в том и состоит, что сильные обижают слабых — либо наш идеал справедливости мы заимствовали не из мира сего. Но если, в самом деле, мы получили его свыше, не стоит ли нам присмотреться внимательней к самому процессу? От кого и как мы получаем эти бесценные сведения? Правильно ли их понимаем? Верно ли их передаем?

Первый урок такого рода мы находим в книге Исхода. Высокопоставленный воспитанник царской семьи вышел как-то прогуляться, осмотреть постройки и увидел, как египетский надсмотрщик бьет раба-еврея. Почему это показалось ему несправедливым? Разве в этом было что-

то необычное? Библейский текст скуп на психологические детали. Но все же там отмечено, что он «посмотрел туда и сюда», прежде чем убил египтянина. Т.е. поступок был вполне осознанным.

Науке не вполне ясно, кем был исторический Моисей, но всем уже давно ясно, что его одержимость идеей справедливости навеки запечатлелась в характере еврейского народа. Поэтому нет ничего необычного в том, что примерно с такого же эпизода началась и борьба за справедливость в скромной семье разбогатевшего еврейского арендатора Давида Бронштейна, когда маленький Лев впервые увидел на пороге своего дома босую женщину-батрачку, терпеливо ожидавшую своей платы. Вряд ли Давид Бронштейн обращался со своими батраками хуже, чем это было принято в их среде, иначе он не пережил бы двух русских революций, но легко предположить, что он не был ангелом. Как бы то ни было, сам Лев Давидович объяснял потом затяжной конфликт с отцом своим врожденным инстинктом справедливости.

Конечно, в такой решительной защите угнетенных, кроме жажды справедливости, содержится и элемент семейного бунта, потребность утвердить свою суверенную волю, вопреки давящей власти отца и традиции, своеволие. Если Моисея семейный бунт привел к изгнанию в пустыню, где он осознал свою кровную связь с еврейским народом, свое призвание спасти его, как если бы он «носил во чреве весь народ сей», молодого Бронштейна борьба с семьей привела также и к отчуждению от еврейства. Лев Давидович превратился в яркого строптивого отщепенца сначала в семье, потом в своей среде, в своем народе, а затем и в стране. Он недоучился еврейству у меламеда, он не сумел доучиться и до конца курса реального училища. Иностранному языку он учился по многоязычной Библии, которую сестра передала ему в тюрьму... Он не остался недоучкой в смысле недостатка каких-нибудь сведений, но он не освоил никакой профессии, не подготовил себя к жизни ни в каком реальном обществе. Вскоре он эмигрировал из России под псевдонимом Троцкий.

Автор книги о Троцком «Вечный комиссар» («Москва — Иерусалим», 1989) проф. И. Недава приводит объяснение псевдонима, данное бывшим соучеником и сверстником Л. Бронштейна, врачом-психиатром Г. Зивом. Зив утверждает, что молодому Бронштейну исключительно импонировала представительная, авторитетная фигура надзирателя Одесской тюрьмы Троцкого, где оба они, Л. Бронштейн и Г. Зив, провели несколько месяцев за участие в юношеских политических кружках. Я, конечно, не решаюсь категорически оспаривать бывшего близкого друга (со временем ставшего врагом), но я не сомневаюсь, что по крайней мере не меньше, чем личность надзирателя, Бронштейну импонировала его фамилия, которую он, конечно, мысленно производил от немецкого (и идишистского) слова «тротц», означающего «вопреки», «наперекор». Насколько такая интерпретация близка к истине, видно также из другого его литературного псевдонима, который, в сущности, повторяет первый — Антид Отто, что означает по-итальянски противоядие (антидот). Оба эти языка он изучал одновременно в той самой тюрьме, используя многоязычную Библию.

Таким образом, не только чувство справедливости, но также детский негативизм, укрепленный юношеским упрямством (Der Trotz), превращают Льва Бронштейна в Троцкого — человека, чья жизнь целиком посвящена борьбе, противостоянию, революции. Положительные проекты, вроде сионизма или, хотя бы, построения социализма в одной стране не вызывают у него энтузиазма. Все страны, на его взгляд, заслуживают разрушения и революции. Он знает о них обо всех, достаточно по их собственным газетам, которые бегло читает на многих, освоенных вышеописанным способом, языках. Он не слишком сближается и с людьми и не умеет вербовать и удерживать сторонников. Лишенный семейного тепла, он не может понять и других нерациональных пружин человеческой лояльности. От сторонников он требует верности не себе, а идее. Его радикализм подстать его своеволию: «Все или ничего!» Возможно, он был гением.

Такой путь к революции, довольно характерный для революционеров-евреев, оказывается, вовсе необязателен для многих известных революционеров других национальностей. Энгельс, Плеханов и Ленин не вступали в такие непримиримые конфликты с семьей, социальной средой и собственным народом, какие характерны для Лассалья, Розы Люксембург и Троцкого. Проф. Недава приводит множество биографических сведений о евреях-революционерах, современниках Троцкого, которые во многих деталях повторяют черты его биографии, а также их высказывания, характеризующие их среду, образ мысли и склад характера. Несомненно, что образ поведения Троцкого, форма жизненной карьеры, его отношение к миру¹ являются в чем-то характерными для многих ассимилированных евреев, воспроизводят один из специфических вариантов еврейской судьбы. В этом отношении автор книги совершенно беспощаден. Будучи сионистом, т. е. безусловным приверженцем другой, как бы противоположной, еврейской идеологии, он, в отличие от апологетической еврейской литературы, легко принимает и даже подтверждает фактами многие из обвинений против евреев, которые принято считать главным оружием антисемитов. Его статистика участия евреев в социалистических партиях России подтверждает наблюдения В. Шульгина и других эмоциональных антисемитов, объявлявших организацию революции в России делом еврейских рук. В общем, эта статистика и впечатления многих современных наблюдателей подтверждают, что еврейское участие в революции с начала XX века, если и не было преобладающим, то по крайней мере равным с основным в Империи русским народом. Также и многочисленные факты отвратительной маскировки евреев-революционеров под коренные национальности (русских, поляков и пр.) автор склонен не скрывать, а выпячивать, поддерживая тем самым некоторые из худших антисемитских нареканий.

С чисто научной точки зрения автору очень легко возразить. История всех народов изобилует фактами предательства, продажности и всевозможных форм злодейства, так что еврейский народ проявил себя в истории несколько не хуже всех остальных, включая и эпизод, о котором идет речь в книге. К тому же сионизм, как умственное течение, стремившееся к нормализации еврейского народа, мог бы и более снисходительно судить еврейскую мимикрию, наглость или трусость, как грехи, характеризующие скорее «нормальность» нашего народа. В конце концов, правило «дают — бери, а бьют — беги» придумали не евреи. Любой непредвзятый социологический анализ обнаружит, что специфический культурный уровень городского еврейского населения любой европейской страны, и уж во всяком случае Российской Империи начала века, настолько отличался от окружающего среднего уровня, что общая статистика, сравнивающая относительное число еврейских революционеров с числом русских, просто вводит в заблуждение. Ведь и число миллионеров при такой статистике тоже окажется гораздо большим. И число врачей, и аптекарей, и журналистов...

Евреи-социалисты составляли на пятом Лондонском съезде РСДРП около трети всех делегатов, немного отставая только от количества русских. Однако надо заметить, что относительно численности народа, например, грузин или латышей, они представлены даже слабее. К тому же все евреи, которые попали в руководство (Еврейская рабочая партия — Бунд — была искусно обведена и дискриминирована на этом съезде), попали туда не как евреи, а как представители русских рабочих организаций. Таким образом претензии о засилье евреев в этой ничтожной тогда по численности партии следовало предъявлять не евреям, а русским. Влияние всех оттенков этой партии внутри самого еврейского народа было очень ограниченным и не превышало 20% населения. Вообще установить процентную или какую-нибудь еще групповую ответственность за произошедшую революцию невозможно прежде всего потому, что львиная доля такой ответственности вообще всегда падает на сами власти, и революционеры способны преуспеть лишь в том, в чем эти власти проявят недальновидность и неповоротливость. Естественно также, что в разрушении старого порядка наибольшую роль будут играть прежде всего люди, которым этот порядок не дорог или даже враждебен.

Однако, вопреки этой объективности, сионистская идеология требует от своего народа гораздо большего и открыто осуждает самозванное еврейское участие в чужой истории. Такая высокая требовательность не может быть слишком популярна, однако она показывает, что сионизм только формально ограничивается скромной задачей «нормализации». Своей требовательностью и осуждением отступничества сионизм возрождает древнюю традицию пророков, которые жестоко осуждали прежде всего именно свой народ за грехи, столь общие всем окружающим народам.

Для еврейского читателя многозначительным должен стать факт, что подавляющее участие евреев обнаруживается именно в тех партиях и течениях, в которых на первый план выдвигаются требования социальной справедливости и братства народов. Это кажется естественным, ибо те же идеи составляют существенную часть библейской идеологии. Библия, будучи одной из самых правдивых книг на земле, не оставляет никаких иллюзий относительно исходной нравственности избранного народа, как, впрочем, и всех остальных. Но Библия же дает нам и тот эталон, по которому эта безнравственность осуждается. Этот эталон все христианские народы заимствовали у евреев. Поэтому именно к евреям они особенно строги в своих суждениях. В книге современного идеолога русского антисемитизма, проф. И. Шафаревича, наряду с мифотворческим энтузиазмом высказывается очень серьезная мысль: момент распада Российской Империи совпал со временем усиленного разложения еврейского патриархального уклада, и это совпадение страшно повлияло на судьбы обеих сторон.

Распад традиционного еврейского быта привел к тому, что появилось множество молодых людей, избравших для себя более практичный путь освоения светской, христианской культуры и знакомых с еврейской традицией лишь отчасти. Таким образом, если им и были не чужды еврейские побуждения, они проявлялись у них в нееврейской форме. Все, что касалось сферы осуществления, заимствовалось ими из окружающей их среды. Стремление к социальной справедливости действительно лежит в основе еврейского вероучения, но способы достижения ее внутри еврейства тоже определяются этим вероучением. Что можно совершить для достижения справедливости, а чего нельзя, устанавливает та же традиция, которая внушает исходную мысль. Еврей, вырвавшийся из-под еврейского культурного влияния в среду другого народа, чьи практические нормы иные, опасен, как канистра с бензином в стогу сена. Многие из идеологии христианских народов по содержанию ему хорошо известно. И у него (а иногда и у них) возникает естественное чувство солидарности. По форме же большая часть того, что исторически сложилось у них как ограничения их собственного своеволия, кажется ему наивным набором предрассудков. И тогда он совершает подвиги, которые после краткого общего восторга сулят ему крушение. Оперировав со знакомой ему с детства идеей, ассимилированный еврей с трудом постигает, что значение и применение этой идеи в нееврейской среде иное. Он становится равно чужим и там, и тут, и эту свою чуждость часто субъективно ощущает как высшую ступень объективности. Так, Троцкий, будучи на вершине большевистской иерархии, отверг домогательства еврейской делегации, которая явилась к нему, как к еврею. Он заявил им, что он не еврей, а интернационалист. Наверное, он думал, что произвел впечатление своей непреклонностью. Между тем, он, конечно, вызвал омерзение евреев, как отступник и, может быть, насмешку русских, как сухарь и ханжа. Страшнее выглядит его отношение к отцу, который после революции не мог приехать к сыну из-за отсутствия сапог, а Троцкий «не смог ему помочь», т.

к. «в стране слишком много раздетых и разутых». Старый Бронштейн умер от тифа в 1922 г., и даже его последнюю просьбу, похоронить его на еврейском кладбище, сын отказался выполнить.

В отличие от того, что думают антисемиты, евреи-революционеры большей частью не столько выражают еврейские интересы, сколько нарушают еврейский стереотип, и свою энергию черпают как раз из этого конфликта. Поэтому их амбиция состоит не в том, чтобы принести счастье своему народу, а в том, чтобы как можно категоричнее от него отмежеваться. В разной мере они стыдятся своего происхождения и поэтому не совсем уверенно чувствуют себя в своей роли. Они предпочитают роль возвестителей истины, исходящей от какого-нибудь иного, несомненного авторитета, т. е. роль посланца, комиссара. Тут и кроется психологическая ловушка, приводящая таких людей к духовному и человеческому крушению.

Роль посланца по своей структуре действительно воспроизводит рисунок жизни Моисея. Однако, проявив своеволие, убив египтянина, Моисей еще не приобрел авторитета у евреев. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы стать их вождем. Потому ли, что и тогда это не соответствовало их обычаю, или просто потому, что он и сам не знал еще, какого рода справедливость он защищает? Именно тогда от угнетенных, за которых он вступился, он услышал: «Кто поставил тебя судьей над нами?» Быть может, этот вопрос он задал себе и сам? Он ушел в изгнание после этого на много лет и вернулся лишь тогда, когда был глубоко убежден, что его послал Бог. С тех пор он никогда не колебался и не отклонялся от своего призвания. Его слово превратилось в Закон для его народа. Для комиссара главное — кто его послал.

К. Марксу было уже труднее, но все же он верил — Бог знает почему — что открыл Законы Истории. Троцкому сначала приходилось ссылаться на Маркса, а когда по ходу событий все законы марксизма были нарушены, и он стал большевиком, его единственной опорой остался В. Ленин.

У Троцкого не хватило цельности опереться на себя самого и ему пришлось в конце концов представлять и осуществлять волю Ленина. Ленин всегда знал, чего хотел, хотя это не всегда было одно и то же. Когда Ленин хотел Брестского мира, он послал Троцкого заключить этот мир. Ленин хотел победить в Гражданской войне и он поручил Троцкому создать новую, революционную армию и привести ее к победе. Пока Ленин настаивал на военном коммунизме, Троцкому приходилось разрабатывать организацию принудительного труда, но когда Ленин решил перейти к НЭПу, он воспользовался планом Троцкого о развитии ограниченного свободного рынка. Всегда и всюду его комиссар оказывался на своем посту в качестве той «золотой рыбки», которая по волшебству исполняет желания. Сам Ленин оставался при этом вне критики, отчасти по состоянию здоровья, отчасти благодаря ореолу, созданному ему Троцким и другими комиссарами в большевистском руководстве. Все претензии, что по поводу Брестского мира, что по поводу военного коммунизма, должны были адресоваться Троцкому и, в конце концов, адресовались ему. Он до сих пор обвиняется во всех «перегибах» Советской власти.

Троцкий не сумел противостоять Сталину не только потому, что он ошибся в том или в этом. Он сплхвал как личность. У него не хватило решимости громко заявить свое «я». Грубо говоря, будучи евреем, он мог бы победить только, если бы гордился этим, как лорд Дизраэли. Он все пытался выступать от имени Ленина, не будучи его верным последователем в точном смысле слова (ибо был слишком самостоятелен), от имени Партии, в которой он никогда не мог получить большинства (ибо он был слишком требователен для массовой партии), от имени Марксизма, который с таким оглушительным треском провалился в России. А Сталин в это время, хоть и негромко, уже сказал свое «я!», показав „многим членам партии, что им при нем будет спокойно. Социализм для них вполне может быть построен в их отдельно взятой стране, т. е. их руководящее положение сохранится, а демократизация и «перманентная революция» не повиснут над ними, как дамклов меч. В двадцатых годах и в руководстве партии, не говоря уже об обывателях, накопилась свинцовая усталость от ленинских грандиозных проектов и революционного горения. С неосознанным облегчением проводив в последний путь своего слишком строгого бога, построив ему египетскую пирамиду посреди Красной площади, его бывшие соратники вовсе не были расположены голосовать за его посланца и творческого продолжателя. Они предпочли делового исполнителя (как им казалось) их коллективной воли. Все они погибли раньше Троцкого. На его глазах погибли также все его сторонники, два его сына и обе дочери. Лев Троцкий учил языки по Библии, но вряд ли был достаточно внимателен к самому тексту. Поэтому он бы не понял, если бы человек, который приугодил ему его участь, сказал, что поступит с ним, как Навуходоносор поступил с царем Цидкиягу² (Седекией в русском произношении). Этот человек, бывший студент Тифлисской Духовной Семинарии, Иосиф Джугашвили, знал, конечно, Книгу Книг и человеческую натуру гораздо лучше Троцкого и опирался только на себя. Заботы о справедливости никогда не отягощали его душу.

¹ Это отношение адекватно выразил другой революционер-еврей Карл Маркс: «Философы лишь различным образом объяснили мир, но дело заключается в том, чтобы его переделать...»

² «И сыновей Седекии закололи перед глазами его». 4-я Книга Царств, 25, 7.

МЕЧТА О СПРАВЕДЛИВОМ ВОЗМЕЗДИИ

(Впервые напечатано в «22». № 45, 1985 г.)

Полемика в печати вокруг посещения президентом Рейганом военного кладбища в Битбурге заставила меня задуматься, почему меня не возмущает его поступок. Если бы в это дело не вступили такие люди, как Эли Визель, я, быть может, и не обратил бы внимания на весь инцидент, посчитав его просто политическими придирками престижноориентированных групп. Однако эта полемика заставила меня ощутить отличие моего подхода от общепринятого на Западе, и я подумал, что это отличие не принадлежит только мне лично. За ним стоит другой опыт, другое воспитание чувств, другое видение жизни.

Я никогда не изучал Катастрофу и мысленно отталкивал от себя полную ее картину, быть может, подсознательно избегая психологической травмы. Однако, непроизвольно сведения о Катастрофе с детства настигали меня, и поскольку это началось в детстве, сведения эти неотделимы для меня от других моих детских впечатлений. Я постараюсь их сейчас проанализировать.

В моем детском сознании Катастрофа представлялась мне исключительно проблемой убитых стариков, женщин и детей, так как детские воспоминания не включают возможности остаться при немецкой оккупации кому-нибудь, кроме беспомощных людей. Все известные мне взрослые мужчины были в то время в армии и мне трудно вообразить их в числе жертв Катастрофы. Отчасти поэтому Катастрофа в моем воображении выглядит не предусмотренным и запланированным политическим действием, а исключительным зверством, вспышкой варварства, дикарством. Естественно, и ответственность за дикие поступки, как и за всякое преступление, должна была бы быть индивидуальной.

Мы знаем, однако, что на самом деле ужас Катастрофы не в ожесточенном зверстве, которое всегда индивидуально, но в продуманном планировании гибели целых народов (не только евреев, также и цыган). И тут чувство подводит меня. Вместо того, чтобы ужаснуться еще больше, я неожиданно возвращаюсь к знакомому мне и лишённому ужасных подробностей воспоминанию, естественно сопровождавшему мое детство, как постоянный фон. Я помню бесчисленные летние палатки на окраине сибирского городка, где мы были во время войны, в которых всю зиму жили «эстонцы». Так у нас называли иностранного вида рослых, красивых людей, работавших в своих когда-то аккуратных мундирах на открытом воздухе при температуре -40° и умудрявшихся даже при этих условиях сохранять бравый вид. Это, на самом деле, были сосланные в Сибирь латыши, литовцы и эстонцы, от которых ожидали вскоре полного вымирания. Действительно, каждую ночь хоронили их несколько сотен, и к лету не осталось уже ни одного. Тогда на их место прислали «узбеков», которые выглядели гораздо хуже, но умирали так же хорошо. Весь город, конечно, это знал и видел. Но если про «эстонцев», по крайней мере, говорили: «Жалко, такие красивые люди», об «узбеках» никто не сожалел, потому что они были грязные и некрасивые. По городу ходило множество смешных анекдотов о их жадности, коварстве и глупости. В общем, их грехи сводились к мелкому воровству, торговле урюком и плохому владению русским языком в соединении со стремлением выжить. Это стремление и урюк затащили их пребывание в нашем городе на все годы войны, так что я допускаю даже, что некоторые из них действительно выжили.

В 14 лет, через год после конца войны, я сам попал в лагерь по политическому обвинению (в антисоветской пропаганде) и не считал себя пострадавшим несправедливо, ибо действительно пытался, насколько я мог в этом возрасте, вести антисоветскую пропаганду. Срок, к которому присудили нас с другом (тоже 14 лет), был всего три года, но первые же месяцы убедили нас, что мы не протянем и одного. Мы уже начали готовить для себя наиболее безболезненное самоубийство, но через полгода дело было пересмотрено Верховным Судом. Хотя семьи и уплатили грандиозную взятку, перемена судебного решения была все же неслыханной удачей, и мы вернулись к жизни, не очень веря в окончательность своей счастливой судьбы. Отец моего друга и подельника погиб в лагерях восемью годами раньше. Друг получил еще один срок спустя всего два года. Я отделался почти только легким испугом. Мой отец, дядя, двоюродный брат и бабушка провели в разное время в тюрьмах и лагерях, где люди мерли, как мухи, от года до десяти. Бабушка отметила, как удачно произошло, что меня посадили в таком раннем возрасте, т. к. по ее словам «прививку лучше делать пораньше». При этом я подчеркиваю, что происхожу из обычной семьи технических интеллигентов, не склонных не только к правонарушениям, но даже не заинтересованных в политике. По нашим стандартам семья обошлась, в общем, благополучно. Никто ведь не был расстрелян. Однако, такая обстановка при воспитании не могла способствовать моему восприятию Катастрофы, как чего-то из ряда вон выходящего.

Возможно, я с детства зачерствел душой.

Нельзя сказать, что я не был задет Катастрофой лично. Наши родственники погибли в гетто в Харькове. Вернувшись в Харьков после войны, мы от соседей узнали, что Лева — мальчик из этой семьи, с которым я дружил, тайком прибегал из гетто за провизией для сестры и матери. Соседи говорили, что предлагали ему скрыться, но он не мог бросить мать и сестренку и предпочел смерть с ними вместе. Я очень ясно представлял себе его жизнь и даже гибель. Мне труднее было себе представить жизнь соседей в таких обстоятельствах. Я полагал естественным, что оккупанты убили Леву и всех остальных. А чего же еще можно было ожидать от оккупантов? Но как умудрились выжить соседи? И у них даже нашлось, как будто, что Лева подать?

Почему все же по вопросу о нацистских преступниках и их преступлениях против нашего народа я склонен скорее к компромиссной позиции? Тот факт, что я с детства был свидетелем сравнимых по масштабу и жестокости преступлений, настраивает меня скорее мстительно...

Однако, глядя на эти беспримерные преступления, так сказать, изнутри, я вижу ясно, что их причиной, по крайней мере в знакомом мне случае, являлось, в первую очередь, порочное государственное и общественное устройство, к которому и должна быть обращена наша бескомпромиссность. Хотя ответственность отдельных людей подчас оказывается решающей, она может и должна рассматриваться лишь индивидуально и в связи с обстоятельствами жизни именно этих отдельных людей. Я не знаю, кто был комендантом лагеря уничтожения «эстонцев» в нашем городке. Но, если бы он оказался евреем, я не счел бы эстонцев на этом основании вправе плюнуть на могилу моего дедушки. Я знаю, что даже членство в такой организации, как КГБ, не мешало отдельным (редким, впрочем) людям совершать порядочные поступки, даже подвиги милосердия, в то время как отдельные же беспартийные индивиды возвышались в своем неистовстве до уровня добровольных палачей, заслуживших быть исключенными из человечества.

Исходя из этого опыта, я легко могу себе представить, что мой родственник Лева сбежал из гетто вследствие халатности, или даже снисходительности, охранника-эсэсовца, закрывшего глаза на бегство мальчишки, а затем был выдан на расстрел теми самыми соседями, у которых он пытался укрыться, и которые так живо описывали мне свое сочувствие. Немец-то ведь и не разберет, какой советский мальчишка еврей, а какой украинец. Тут нужен особый глаз иметь...

После войны растяпа-эсэсовец был, допустим, повешен (как раз в Харькове произошла публичная казнь нескольких нацистских преступников, а отношение советских следователей к истине мне известно), или просто пропал в Сибири, или танком его раздавило, а смекалистый Левин сосед отсиделся возле своего огорода и пережил даже сталинские чистки. Должен ли я сейчас, спустя сорок лет, осквернить могилу этого предполагаемо нескгибаемого эсэсовца и послать цветы на могилу предполагаемо добросердечного соседа? А что, если именно сосед — предатель и виновник? Кто во всем мире может ответить мне, как было на самом деле?

Конечно, эти мои подозрения не имеют силы доказательств и основаны лишь на гипотетических возможностях и обширной статистике массовых преступлений на оккупированной территории. Но вот товарищ Сталин все учел и всех подряд, остававшихся на оккупированной врагом территории, поставил под подозрение, заставив отмечать этот факт во всех их документах. Таким образом Сталин разрабатывал и осуществлял не только планы собственных грандиозных преступлений, но и процедуры не менее грандиозных наказаний и отщений за косвенное пособничество чужим преступлениям. Прямое пособничество наказывалось отдельно. Таким образом И. Сталин крепко держал в руках Добро и Зло. Жаль только, что и его добро тоже всегда проявлялось в форме зла. Это происходило именно вследствие абсолютного характера его действий. До самой его смерти, и даже несколько позже, все 50 миллионов потенциальных коллаборационистов еженощно дрожали, опасаясь ареста, и оставались гражданами второго сорта в глазах всех официальных инстанций в СССР. Хотим ли мы того же самого для оставшегося в живых немецкого народа? И уже без ограничения срока?

Разумеется, мы не можем им реально насолить, но морально нанести им такой тотальный ущерб мы бы хотели? Я не уверен в этом. Я почти уверен в обратном. Божественное правосудие не передано в наши руки...

Значит ли это, что я считаю возможным их простить? — Нет. Никак.

Преступления нацистов во многих других аспектах имеют аналогии и параллели в истории человечества. Их преступление против еврейского народа беспрецедентно. Даже сходное по масштабам убийство армян турками радикально отличается от Катастрофы своей примитивной эмоциональностью. Другие преступления нацистов, хотя не могут быть оправданы, но, по крайней мере, объяснимы. Их преступление против евреев необъяснимо и бесполезно для них самих. Банальность мотивов отдельных исполнителей и очевидная мелкость многих вдохновителей этого преступления не должны затмевать его уникальный характер и небанальный замысел. Это событие останется среди феноменов, которые должны быть рассмотрены на более широком фоне, чем только история Европы середины XX века.

Сравнимое во многих отношениях событие описано в книге Бытия, в главе 4: «восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Сходство состоит не только в том, что, в отличие от обычных междоусобиц, Каин убил брата, который не защищался. Оно состоит также в том, что мотив убийства был исключительно идеалистическим: «...призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел». Спор шел о ценностях невидимых, и Божественная справедливость остается для нас необъяснимой. Таинственность смысла этого преступления подчеркивается таинственностью кары: «...что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты... И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно... и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня...»

Что за странная забота о безопасности убийцы со стороны Бога Мщения? И не столь же ли странно звучит увещание, обращенное к Каину еще до убийства: «...отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бог знал о преступлении и дал ему свершиться. Его счесть с Каином выше плоского понимания антитезы преступления и наказания. Ведь наказание снимает вину...

Мы вправе прощать либо наказывать только несомненные, банальные преступления. Эйхман, к собственному облегчению, мог быть повешен, потому что он был лишь ничтожным исполнителем, жалким пособником Преступления... Истинных виновников мы не можем не только наказывать, но, в сущности, даже обнаружить...

Как люди, а не боги, мы не имеем права огульно объявлять преступниками не только целые народы («всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро...»), но даже и отдельные категории граждан (нацистов, коммунистов) без четко ограниченной общепризнанной судебной процедуры. Не можем мы также добиваться от нового поколения немцев (а почему об австрийцах, кстати, никто не упомянул?), чтобы они огулом признали своих отцов падалью, которая заслужила свою собачью смерть от бомбы или от русского штыка. Это не было бы моральной победой. Наша еврейская история к тому же такова, что если мы захотим дальше пойти по этому непримиримо разоблачительному пути, нам придется проклясть все человечество. Однако, наша способность прощать и забывать все еще выше общемировых стандартов. Может быть, оставаться избранным народом, это значит позволить другим народам быть такими, каковы они есть?

Возможно, кто-нибудь из американских евреев возразит, что в том и состоит миссия еврейской диаспоры, чтобы принудить народы стать выше, чем они есть. Чтобы толкать их по пути нравственного совершенства выше их сегодняшних возможностей...

Может быть, и в этом правда... Но ведь — это дело веры. Веры в миссию. Веры в диаспору. Веры в то, что влияние евреев диаспоры на окружающие народы ведет к повышению их нравственности. Израильянину позволено в этом сомневаться. Нравственность — такая зыбкая вещь. Уследить бы за своей.

В конце концов Р. Рейган достойно вышел из положения, призвав рассматривать также и убитых в боях немцев, как жертв безумного режима, основанного на безумной идеологии. Само это определение уже исключает тех из них, кто был в действительности сознательным преступником. Что ж, он простил **своих** врагов. Его прощение нисколько не снимает их вины по отношению к **нам**. Никто не может простить от чужого имени. Но и осудить заочно не дано никому.

Мне кажется, что под непосредственным впечатлением Катастрофы Э. Визель и многие другие усвоили такой апокалиптический взгляд на мир, что подсознательно ожидают осуществления справедливости в реальной политической жизни после Катастрофы. В ходе Катастрофы зло проявлялось столь абсолютно, что победа над ним во Второй мировой войне могла быть понята, как торжество добра (тоже, возможно, абсолютного). И сама эта Война, как некий «последний и решительный бой». Во всяком случае, следы этого ощущения очень ясно сказываются в абсолютности их требований к американскому и немецкому правительствам в отношении нацистских преступников. Однако, в мире нет ни одного правительства, которое могло бы удовлетворить таким требованиям. Беспрецедентность нацистских преступлений отнюдь не обеспечила ни беспрецедентной справедливости наказаний, ни даже полной правоты победителей Катастрофа уже ушла в прошлое, а Страшный Суд еще не наступил. Мир после Катастрофы остался таким же несовершенным, каким был и до нее... В известном смысле он стал хуже. Мы можем обсуждать, прощать ли или не прощать убийц, но мы уже не в силах отменить ужасающий прецедент. Его соблазняющее влияние на умы людей, которых не волнует наше прощение, несомненно. Его значение для будущей истории не может внушить оптимизма, позволяющего сосредоточиться на символическом наказании побежденных преступников.

А. Воронель и Р. Нудельман

БЕСЕДА О ГУМАНИЗМЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Р. Н. — Затянувшийся правительственный кризис в нашей стране еще раз показал нам недостатки нашей политической системы. Почему мы не можем заимствовать проверенные рецепты западного либерализма? Например, так красноречиво описанный польским автором А. Спиваком «либеральный либерализм» сэра Исайи Берлина, выдающегося английского, еврейского интеллектуала, специалиста по русской истории и культуре? В сущности, «либеральный либерализм» Исайи Берлина представляет собой некий свод правил политического и социального поведения, направленного на сохранение общественного мира и предотвращение политического насилия. Это звучит очень соблазнительно для каждого интеллигента, особенно — для выходца из СССР.

А. В. — На мой взгляд, концепция Берлина не имеет универсальной применимости. Я бы даже сказал больше. Исайя Берлин, как мыслитель, сформировался в рамках англо-саксонской политической традиции. В этих рамках его концепция представляется мне, скорее, тривиальной. Это обычный англо-саксонский практицизм, достаточно хорошо, красиво сформулированный. Можно назвать его, если угодно, и «либеральным либерализмом» — в том смысле, что либерализм здесь заходит так далеко, что готов анализировать отчасти и самое себя.

Р. Н. — Рассматривать себя, как одну из точек зрения...

А. В. — Но насколько это применимо, скажем, к израильской ситуации? Я неоднократно убеждался, что на выборах в Израиле у меня прежде всего возникает острое желание проголосовать за многопартийность. Но как раз этой возможности я лишен. В культуре сегодняшнего израильского общества я не нахожу такой широты, которая позволяла бы голосовать за многопартийность. Я не

вижу у израильских партий особого желания оставить место конкурентам. Это вызывает у меня вопрос: почему же концепция Исаяи Берлина, такая, вроде бы, очевидная всем интеллигентам, неожиданно оказывается неприменимой в Израиле? И тогда я начинаю анализировать и прихожу к выводу, что в подавляющем большинстве стран такой политической культуры, которую он предполагает, попросту нет. Эта культура специфически национальна. Исаяя Берлин, как свойственно вообще евреям, настолько вжился в эту англо-саксонскую культуру, что преподносит ее нам, как свою универсальную идею. Как очередную спасительную панацею. Это свойственно многим выдающимся евреям. Мы уже получали такие панацеи от К. Маркса, от Милтона, Фридмана... Нуждаемся ли мы еще в одной? Я уверен, что нет. И я скажу, почему. Англия — страна не только плюралистическая по характеру, по традиции — это повелось в ней еще со времен войны Алой и Белой Роз, — Англия еще и страна практицизма. Как и Америка, наследующая ей — это страна прагматической идеологии. Что это значит? Это значит, что тамошний либерализм дозрел до уровня чисто прагматического компромисса, даже вопреки политическим принципам и программам. Беспредельный английский либерализм совершенно не мешает госпоже Тэтчер дать приказ своему Скотланд-Ярду застрелить шесть человек прямо на улице, без суда и следствия, просто потому, что они подозреваются в причастности к ирландскому терроризму. Если бы такое произошло в России, это означало бы, что совершился государственный переворот и что теперь разрешено стрелять на улице. В Англии это означает просто исключение из правил, некий практический компромисс с общими либеральными принципами. И большинство это именно так и понимает. Но понятие исключения, понятие практического компромисса, даже и вопреки идеологии, не всякому доступно. Оно недоступно людям, выросшим в традициях тотальной культуры. Я думаю, что русское мышление, как и еврейское, всегда было тотальным — оно всегда искало окончательную истину. Берлину такое стремление представляется опасным. Ему кажется, что любая тотальная идея обязательно ведет, так сказать, к гибели, к порабощению человечества. Ну, во-первых, это не всегда так, а во-вторых, даже если это так, у нас не очень много возможностей от этого защититься.

Защищаться нужно вообще не от мыслей, а от политического манипулирования нашими мыслями, которое всегда ведет к закрытию каких-то возможностей действия, но не мысли. Наша демократия, например, ничего не выиграла от запрещения партии Кахане, т.к. мысли его в результате только получили дополнительную рекламу, а политически он стал совершенно неуязвим, т.к. не обязан теперь провозглашать на людях свои взгляды. Наша израильская политическая система, такая несовершенная в сегодняшней ситуации, сложилась как отражение еврейского недоверия к решениям большинства и, следовательно, имеет свои корни в психологии нашего народа. Если понимать демократию, как защиту прав меньшинств, что соответствует сути дела, мы превратились в супердемократию, в которой меньшинства защищены лучше, чем основная масса населения. Еврейское мышление отличается своим тотальным характером и, как и русское, с трудом принимает исключения.

Что произойдет, если теперь на нашу почву перенести идеи Берлина? Произойдет то, что та сторона, которая согласится, что все точки зрения относительны и выразит готовность обсудить слабости своей точки зрения, немедленно проиграет той, которая останется в уверенности, что ее точка зрения верна абсолютно.

Р. Н. — Это напоминает мне притчу о одежке спорного одеяла: тот, кто признал, что половина одеяла действительно принадлежит противнику, может спорить уже только о половине оставшейся половины, он себя уже обрек максимум на четверть...

А. В. — Вот именно. Берлин предлагает нам всегда уступать «чужую» половину одеяла. Признавать за оппонентом «его» правоту. Такой подход теоретически господствует в науке. Всякий ученый обязан учитывать возможную правоту своих оппонентов. Однако, можем ли мы в науке допустить, чтобы люди не знающие, что дважды два — четыре, спорили об истине на равных с учеными? В науке уважение к оппоненту обеспечивается образовательным «цензом». В политике ввести такой ценз не представляется возможным, так как даже среди людей образованных нет и тени равенства в опыте или политической мудрости.

В науке такой подход возможен потому, что все согласны, что истина существует и принимают общие критерии, которым она должна удовлетворять. В политике и идеологии ничего такого нет. Критерии каждой группы вырабатываются применительно к их частным истинам, не говоря уже о том, что многим вовсе и не нужна истина, а только победа вопреки всему или даже их личная выгода. Берлин, имея дело не с наукой, а с чувствами людей, как бы отрицает абсолютную истину вообще и требует воспринимать истину оппонента наравне со своей. В этом я вижу либеральный хомейнизм, который так распространен в нашей стране. Я считаю нормальным, когда своя истина человеку дороже чужой при всех возможных осложнениях.

Кроме того, почему исключается возможность, что одни люди умнее других и иногда оказываются полностью правы? Ведь в практической жизни мы всегда помним эту истину. Мы перестаем пользоваться услугами врача, который покажется нам глупым, и уходим из гаража, где неаккуратны механики. Почему в общественных делах мы из демократизма должны любую истину разбавлять ложью и любую ценность дерьмом?

Фанатики либерализма из преданности этой идее готовы поставить на голосование хотя бы и вопрос о нашем существовании. Но я хочу жить, даже если большинство человечества с этим не согласно, и требую от гуманизма настолько человеческого лица, чтобы оно позволяло мне защитить себя при всех условиях. Несомненно, что пока существует, например, государство Израиль (или

всякое иное государство), будет длиться несправедливость, благодаря которой множество одаренных политических деятелей (в том числе арабов) не сможет найти себе достойного применения, а еще большее множество обыкновенных людей вынуждены будут встречать в жизни разные трудности, ограничения, непосильную конкуренцию на рынке труда и потери заработка. Но я уверен, что гуманизм дает нам, то есть тем, кому это более выгодно, абсолютное право защищать именно это взаимоотношение, чтобы избежать трудностей еще худших, до тех пор пока оно не покажется почему-либо невыносимым нам самим. По крайней мере, так это обстояло всегда во всем мире со времени его возникновения.

Мы не англичане, у нас есть склонность искать абсолютные истины, многие из нас верят, что истина только одна. Но что-то нас все-таки удерживает от того, чтобы перерезать друг другу глотку. Удерживает нас то, о чем И. Берлин вообще не упоминает и что, на самом деле, является еврейской заменой англо-саксонского практицизма — запрет на убийство. Евреи привыкли, что другим людям тоже надо жить. Это наша национальная традиция. Мы не привыкли уважать их истину, но мы привыкли к необходимости дать им жить. Однако, давая им жить, мы тем самым даем им возможность исповедовать их истины де факто. Это трудное сосуществование, но оно работает. Даже для арабов.

Р. Н. — Твоя мысль о том, что в разных национальных традициях путь к плюрализму разный, вызывает мое сочувствие. Впрочем, пример с евреями показался мне не очень убедительным. Такой диалог действительно существовал в еврейской религиозной традиции, но постепенно угас. Он был в какой-то степени подхвачен в сионистской традиции, но сейчас исчезает и в ней. Вместо диалога мы сейчас видим одну лишь взаимную глухоту и взаимную нетерпимость. Как будто маятник качнулся в сторону той части нашей национальной психологии, которая ближе к тотальности. Но я хотел спросить о другом. Не упускаешь ли ты из виду, что у Берлина речь идет о психологии, об убеждениях разных людей, для которых действительно нет общей истины? Или, как говорит Берлин: у каждого своя высшая ценность. И поскольку в человеческом мире, в отличие от научного, нет согласия насчет абсолютной истины, мы вынуждены с этим считаться. Это верно для любых обществ, любых национальных традиций. Люди разные. Ценности разные. И если люди не хотят перерезать друг другу глотки, они должны как-то договариваться. Согласен, это тривиально, но это, в сущности, идея некоего социального контракта. Не проступает ли она повсюду, просто под разными национальными масками? Пути разные, но результат один?

А. В. — Нет. Она не может проступать повсюду, потому что она на самом деле не может обеспечить в других культурах никакого сносного существования.

Ты сказал «если люди не хотят перерезать друг другу глотки» — но они хотят, и это скорее норма, чем отклонение. Ведь вот Берлин сам, в своем интервью о России и «кривом дереве человечества», говорит, почему погибла русская либеральная традиция. Он утверждает, что она была достаточно сильна. И тем не менее она погибла. Большевики были достаточно слабы. И тем не менее они победили. Он объясняет это тем, что русские либералы отказались применять насильственные методы. И он их за это уважает. А я не уважаю и скорее согласен с Солженицыным, который обвиняет их за это в национальном предательстве. Эта их «верность» принципам либерализма обошлась русскому народу не только в десятки миллионов жертв, но и еще в десятки лет будущих смут. Фактически их отказ от насилия в 1917 году означал признание законности насилия большевиков.

Впрочем, я не согласен с обоими. И. Берлином и А. Солженицыным, в их переоценке силы либерального крыла. Они были фактически обречены, потому что этой силы у них не было, а поэтому не стоит их и обвинять. Но мы говорили о принципах.

Вот английские либералы при всем своем либерализме от насильственных методов не отказываются! Маргарет Тэтчер может приказать убить шестерых террористов, и ничего. Почему? Потому что она знает, что такое грех и что такое покаяние. Она сознает, что такое убийство — практическая необходимость, исключение — и что это грех. Она готова покаяться, но она знает и то, что человек безгрешным не бывает. Русский человек в той же ситуации компромисса просто не признает: либо он согрешил и тогда уж погиб навеки, либо он останется святым. И вот эта крайность, характерная, кстати, не только для России, не дает русскому обществу выжить по схеме Берлина. Либералы отказываются «согрешить» даже немного, даже когда это диктуется настоящей практической необходимостью, а в результате весь русский народ оказывается жертвой ничтожной группы большевиков, которая считает себя абсолютно добродетельной.

Р. Н. — Таким образом, ты утверждаешь, что русская традиция исключает, или во всяком случае до сих пор исключала, поведение в духе «либерального либерализма» Исаи Берлина. Означает ли это, что она всегда будет его исключать? Тогда у России как бы не остается вообще путей к плюрализму, к демократии и так далее...

А. В. — Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос. В реальных рамках нельзя вообще употреблять слова «всегда» или «никогда». Нам доступен лишь небольшой кусок истории. Мы не можем предвидеть, что изменится в результате столетий. Традиция, сложившаяся в России, такова, что пока не видно, чтобы русская ментальность приближалась к английской. Можно зато увидеть, как она приближается к сравнительно либеральным немецким, французским или испанским образцам, для которых плюрализм оказывается, после многих мучений, все же достижимым.

Р. Н. — Попробуем суммировать. Сначала речь шла о различии национальных традиций. Против этого нечего возразить. Такая национальная традиция, вообще говоря, ограничивает выбор. Это

Берлину задним числом кажется, будто можно выбрать любой способ политического поведения по собственному желанию, по добровольному «общественному договору». На самом деле политическую культуру нельзя выбрать — она предопределена национальной традицией и историей. Традиция задает способы решения неизбежных конфликтов: грубо говоря, евреи обращаются к раввину, а американцы обращаются в суд. Русские, наверное, — к бабушке-царю... тем не менее все либеральные общества, которые ты перечислил, в конечном итоге приходят к неким «правилам игры», более или менее одинаковым для всех. Берлин, в сущности, и пытается сформулировать такие правила в самом общем виде. Так сказать, в идеале.

Поэтому я готов отказаться от своей половины одеяла и жду, что ты откажешься от своей...

А. В. — А если нет — ты выстрелишь из пушки? Берлин может себе позволить такое прекраснотушение, потому что его защищают американские пушки. Но люди вовсе не равны, как он это провозглашает, тут он хитрит. Как интеллекулал, он прекрасно знает, что обращается вовсе не ко всем людям, массе, а именно к своему узкому профессиональному слою интеллектуалов, которые могут влиять — и влияют — на эту массу. Поэтому Берлин, в сущности, обращается к другим авторам книг и требует, чтобы они немедленно признали, что они все немножко неправы, у них у всех истины не универсальны, а вот он прав во всем, потому что его схема «действительно» универсальна. Он один — философ философов, а все остальные философы немножко меньше правы, чем он. Берлин прекрасно понимает, что его собственное творчество является для читателей материалом, формирующим их мировоззрение. Что же он формирует? Он формирует у них беспредельный релятивизм, который призван поколебать их уверенность в «правильности» традиционных национальных институтов. Он говорит, что идеальная политическая культура — это культура агностическая, которая не знает, к чему она придет, не знает истины, а растет естественно, как кривое дерево, которое в конечном результате вырастет, как нужно, чтобы всем было хорошо...

Р. Н. — При соблюдении «правил игры»...

*А. В. — При соблюдении правил игры, которые, однако, устанавливает не он, не Берлин. Поэтому он как бы забывает добавить, что хорошо будет всем, **кто выживет**, ибо некоторым на этом кривом дереве не окажется места. Конечно, он может себя утешить, что так и должно было быть для данного дерева, но у многих вытесненных с ветки были веские возражения, и разрушение национальных институтов приводит общества не к идеализированной Берлиным англосаксонской модели, а к национальной же альтернативе, которая часто хуже предыдущей.*

В том-то и дело. Если бы он сам и устанавливал эти правила игры во всем мире в своем приятном англо-саксонском духе, я, может быть, с ним бы и согласился. Но нам приходится жить в реальном мире, не расчерченном на очаровательные английские лужайки. И. Берлин не установитель правил, он всего лишь агитатор. Он агитатор за определенный тип правил.

Представь себе, что на игровом поле для американского футбола появляется человек, уговаривающий принять более гуманные правила игры в гольф. Он помешает игре и вряд ли завоеует симпатию публики. Он, понятно, любит гольф и его правила. Они элегантнее. Они безопаснее. Он верит в то, что это лучше для всех... Но brutальный янки хочет настоящего боя. Американский футбол с его силовыми приемами больше удовлетворяет его представлению о справедливой игре, потому что в нем участвует весь человек, с его силой, напором и хитростью, а не только анемичное искусство элегантного взмаха клюшкой. На безопасность игроков, которым хорошо заплачено, ему плевать...

Позвольте обществам, которые живут в другой ментальности, играть по своим правилам. Если мы позволим им верить в превосходство своих правил, не исключено, что некоторые из них своей дальнейшей историей, просто тем, что выживут, покажут, что свою меру абсолютности они соблюдают.

Р. Н. — Я вижу в твоей позиции явные следы твоих прежних размышлений. В своей статье о Солженицыне ты проводил мысль, что общество сохраняется, как целое, пока в нем сохраняется некая единая для всех членов рамка ценностей. В сущности, Берлин тоже ставит вопрос: как людям ужиться друг с другом? Как сохранить общество от гражданской войны всех против всех? И он тоже утверждает, что это возможно только при наличии такой «общей рамки», как согласие всех на ненасильственное решение конфликтов и споров. Вы оба говорите об «общей рамке», пункт расхождения в том — одинакова эта рамка для всех народов или разная? В Англии такой рамкой, такой системой общих для всей нации ценностей, действительно является или может стать либеральный либерализм. В России на это, как правило, не согласны. Нет здесь такой традиции. Ты ему либеральный либерализм в глаза тычешь, а он тебе в ответ — булыжник, оружие пролетариата. И у евреев нет такого согласия всегда решать вопросы ненасильственным путем. Ты говоришь: если в данном обществе по традиции принято отвечать на газету кирпичом, не проповедай здесь принципы поведения Исайи Берлина — они приведут только к гибели тех, которые с газетами. В сущности, это ты и называешь «абсолютным» у каждого народа — его национальную традицию: тотальную или либеральную, индивидуалистическую или коллективистскую. По своему пути он, возможно, и к демократии придет, чем черт не шутит...

А. В. — Самое интересное, что приходят. Так что даже «абсолютное» нельзя до конца абсолютизировать. Если спустя две тысячи лет после распятия Христа Папа Римский провозгласил, что следует признать за евреями особые источники откровения, это значит, что он чему-то научился за две тысячи лет. Ведь обратим внимание: обе религии считают себя абсолютными. Каждая считает, что только ее вера абсолютно истинна. Когда одна признает другую, это значит, что она признает,

что не охватывает без остатка всю истину. И это — модус вивенди, который резко отличается от того, что провозглашает Исайя Берлин. Потому что Берлин, мне кажется, делает нечто противоположное. Он говорит так: все истины относительны, поэтому... Что поэтому? Поэтому нам следует отказаться от своей части истины. Но ведь мы в нее верим! В нашей части истины, какой бы она ни была относительной, есть частица абсолютного.

Р. Н. — Но ведь можно Берлина понять и иначе: именно потому, что у каждого есть своя истина, давайте их все и уважать...

А. В. — О, если бы это было единственное! Но он говорит не это. Он как раз ополчается на все абсолютное. Он ведь как говорит? Как только кто-то провозглашает абсолютность своей истины, этот «кто-то» — тиран. Но это неправда. Не всякий «кто-то» — тиран. Вот католическая церковь в течение полутора тысяч предыдущих лет действительно была тираном, а теперь перестала им быть, раз она признала, что источники откровения существуют и в иудаизме. Признала за иудаизмом его часть абсолютности...

Р. Н. — Я думаю, Берлин тут раздражает тебя своей метафизичностью. Тем, что он слишком разделил эти вещи: либо относительность, либо абсолютность. Я сейчас вспоминаю твои давние рассуждения о плодотворности абсолютных истин, о безусловной необходимости чего-то «абсолютного» для нормальной человеческой и общественной жизни. Когда Берлин провозглашает, или подчеркивает, одну только относительность истин — против чего, кстати, ополчался некогда Сопровский в «Континенте», которому ты сочувствовал, — он агитирует за такое общество, в котором, как в целом, нет никаких общих опор, никакой общей рамки, будь то в виде национальной морали, национальных ценностей, национальной трагедии или консенсуса в поведении, а это еще разрушительней для общества — и для отдельных людей, — чем даже настаивание на единой для всех, тотальной истине. Такова, в сущности, твоя вторая скрытая мысль, твое, как я понимаю, второе возражение Берлину. Где нет чего-то «абсолютного», общество атомизируется. Это — вторая крайность, если первой считать тотальность единой истины. В действительности, если общество жизнеспособно, есть нечто общее для всех его членов, некая национальная «рамка», и она — абсолютна. Но — только для данного народа. Поэтому задача каждого «здорового» национализма — развивать «положительные» стороны национальной традиции. Но именно национальной, а не универсальной. Потому что навязывание чужого якобы универсального пути чревато подавлением своего, и тогда возникает соблазн сбросить «иго плюрализма» вообще, то есть вернуться к тотальности — как сбросили, к примеру, нацисты, как предлагают сегодня сбросить «руситы». Я понимаю теперь и логику твоей симпатии к Солженицыну. При таких рассуждениях неизбежен вывод, что не все индивидуальные истины относительны, так сказать, одинаково. Есть такие, которые точнее угадывают суть национальной традиции, поэтому они ближе к абсолютности. Скажем, Исайя Берлин точнее выражает абсолютную истину английского духа, то, что в этом духе отразилось, так сказать, от Мировой Идеи. Но тот же Берлин дальше от истины, когда утверждает, что русские тоже должны руководствоваться принципами английского типа. Ближе к «русской истине» окажется тот, кто, как Солженицын, скажет, что русский народ может легче, естественнее для себя прийти к плюрализму в рамках просвещенной автократии. Поэтому не всякий, кто провозглашает «абсолютную истину» — обязательно тиран. Он может быть, напротив, гениальным выразителем национального духа. Или его формирователем. На самом высоком уровне, на общечеловеческом, относительность снова появляется, но опять-таки не беспредельная: народы — и религии, как ты показываешь на примере католичества, — жертвуют частью своей абсолютной истины ради сосуществования, но не отказываются при этом от своего специфического пути. Потому что они не могут отказаться, если не хотят вообще отказаться от своего места в истории и мире.

А. В. — Возможно. Я действительно уверен, что в каждой национальной традиции есть своя доля абсолюта. И я против Берлина потому, что он это право на свою абсолютность за всеми другими, в сущности, отрицает. Кроме англичан и американцев. Всем остальным он оказывает «честь» — он их «уравнивает» с англичанами. Вы тоже можете жить так, как мы. А если они не хотят, как он?

Р. Н. — Но согласишься — есть что-то бесконечно соблазнительное в идеале, который предлагает Берлин? Как пение сирен...

А. В. — Для интеллигентского уха, согласен. Но я бы сказал, что это не для всех интеллигентов, а только для нас, для людей, истосковавшихся по гуманизму. Мы ведь родом из России, этого нельзя забывать, у нас специфическая тоска по либерализму, по всепрощению, по избеганию всяких, так сказать, обрубающих умозаключений, которые отсекают слишком кривые ветки. Это все специфически наше. Но я хотел сказать следующую вещь.

Вот, например, никто из нас не может ведь сказать, что японское видение мира примитивно или что оно препятствует цивилизации, а сейчас даже и либерализму. Тем не менее все эти их идеи чести, харакири, все это воспринимается нами как бесчеловечное, и мы упорно хотим это в той или иной форме искоренить. Мы только не говорим этого вслух, но на самом деле мы именно это хотели бы искоренить, как остатки дикости. То есть мы хотим искоренить то, что для японцев составляет их абсолютную ценность. Я подчеркиваю — абсолютную, потому что тут речь идет о фундаментальных вещах, о жизни и смерти. Можно сколько угодно обсуждать, сколько в этом относительности или абсолютности, но это все равно останутся конечные истины, ведь нельзя одновременно и жить, и умереть. Поэтому когда человек готов убить себя ради своей истины, своего понимания чести, это значит, что эта истина для него абсолютна.

Р. Н. — Интересно. С одной стороны, нам в схеме Берлина соблазнительна идея свободы обсуждения, свобода любой мысли, мы по этой свободе тоже истосковались в тотальной системе. А с другой стороны, если покопаться, то окажется, что мы же под спудом несем в себе агрессивную готовность запретить любые, слишком отличные от нас образы мыслей.

А. В. — Вот! Это то, что я хотел сказать. Если японец готов покончить с собой, потому что он оказался, с его точки зрения, в тупиковой ситуации, то мы должны признать его точку зрения абсолютной. И тогда зададим себе вопрос: с нашей же точки зрения она относительна, так? Значит, может быть, наше отношение к жизни и смерти тоже слишком догматизировано? Мы всегда знаем, что «жизнь лучше смерти». При всех условиях мы должны спасти человека, чтобы он не умер. Между прочим, это недоказуемая догма. В некоторых ситуациях лучше умереть. По крайней мере, нужно дать ему самому решать, что ему лучше — умереть или жить. Раз мы этого не делаем, мы ясно демонстрируем ограничения своей цивилизации, свою догматичность — она ничем не лучше чужой. Вот тут, мне кажется, лежит правильный путь к расширению берлиновского релятивизма, на случай, когда он выходит за пределы своего культурного ареала. Не все западные ценности имеют универсальную применимость. Берлин просто пользуется тем, что весь мир очень сильно подвержен влиянию американских идей.

Р. Н. — Да, если вдуматься, в схеме Берлина есть такая неявная предпосылка. Хотя он говорит, что у каждого свои высшие ценности, но неявной предпосылкой является мысль, будто высшей ценностью для всех является собственная жизнь. Потому что иначе все остальные ценности лишаются цены. А это есть европоцентризм, если угодно. Потому что только богатая сегодняшняя Европа доросла до этого — что она так ценит жизнь...

А. В. — ...превыше всего. И любой ценой ее спасает, даже самую корявую. Но японец с такой «абсолютностью» не согласится. У него своя мерка ценности жизни и смерти и значит — свое понимание абсолютного. Я хочу пойти дальше. Мы в Израиле столкнулись именно с такой принципиальной несовместимостью. Мусульманский фундаментализм совсем не признает жизнь главной ценностью. И тут, мы, евреи, оказываемся безоружны. Нас к этому не готовили. Ибо мусульманство, в принципе, не похоже на нацизм, оно не несет еврею смерть, а только традиционную в их обществах второразрядность. В чем же дело? Вы, евреи, признаете жизнь высшей ценностью? Зачем же воевать — договоримся! Мы, как правило, не будем вас убивать. Ну, помимо отдельных эксцессов! Вы будете жить в нашем Палестинском государстве, как евреи прекрасно живут в Ираке, Сирии и других замечательных арабских странах. А если вы не согласитесь — пеняйте на себя! Потому что мы не то, что вы, будем воевать, не щадя своей жизни, и не остановимся на полпути. И тут нам самим придется признать, что сохранение жизни — еще не все. Что в свое понятие жизни мы включали также и свое представление об образе жизни... и еще многое, многое другое... о чем как-то уже давно не вспоминалось.

Тогда нам следует признать, что не только сэр Исая Берлин, но и вся наша сегодняшняя философия и культура не подготовили нас к такой встрече. Европейские мыслители уже полвека тешат себя мыслью, что после Второй мировой войны настал длительный мирный период, а совсем недавно Америка подарила Свободному Миру такую замечательную игрушку, как разговоры о конце истории, инициированные статьей Ф. Фукуямы. Но для нас в Израиле история только началась, и нам необходимо готовиться к великим событиям. Великие события безопасно не проходят. И хорошо бы продумать все сначала, а не следовать пению европейских сирен, забывших почему-то за пятьдесят лет, как звучат сирены воздушных тревог.